

Prix 8 Francs

PÉRIODIQUE

№ 218 Février 1970

ВОЗРОЖДЕНИЕ

«LA RENAISSANCE»

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 218

ФЕВРАЛЬ 1970 ГОДА

c/o. S. S. Obolensky

Chemin de la Côte-du-Moulin

78 — L'Etang-la-Ville

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1970
№
218

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. Редакционная статья	5
М. Ф. АНДРЕЕНКО. Салон Мадам Т.	7
Ю. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ. Ласточка. Рассказ	17
А. ГОРСКАЯ. Снегурочка. Сказка	29
В. Н. ИЛЬИН. Об основах Инквизиции-Чеки	31
П. КОВАЛЕВСКИЙ. « Возмездие » А. Блока	43
Зинаида ГИППИУС. О Бывшем	52
Ольга де КЛАПЬЕ. Червеная церковь	71
С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Варшава — июль 1944 года	82
Б. СИБИРСКИЙ. Политические талмудисты	98
Книги. О. МОЖАЙСКАЯ. Петр Бобринской, Стихи — Елена Семчевская, Рассказы и очерки — Ген- надий Озерецковский, « Червь Земли » — Ольга Дартау, Сборник. Н. В. СТАНЮКОВИЧ. А. Галич, Песни	114
Владимир САМАРИН. Русская эмиграция и культура. (О « Записках » Русской Академической группы в США)	127
Л. ДОМИНИК. О роке в театре	131
Отклики наших читателей. И. Р. МАРКАДЭ. О фильме « Андрей Рублев ». В. МАРКАДЭ. О вы- ставке Марка Шагала. КСЕНИЯ ПИТОЕВА. О Русском Драматическом Театре	136
Я. Н. ГОРБОВ. Литературные заметки : Ги- зелла Лахман « Пленные слова » (1952) — « Зерка- ла » (1965)	142
Кн. С. ОБОЛЕНСКИЙ. Под властью злобной бездарности	153

« LA RENAISSANCE »

ВОЗРОЖДЕНИЕ

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТЕЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Под редакцией

Кн. С. С. ОБОЛЕНСКОГО и Я. Н. ГОРБОВА

№ 218

ФЕВРАЛЬ 1970 ГОДА

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

VOZROJDENIE

« LA RENAISSANCE »

REVUE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE

Comité de rédaction :

PRINCE S. OBOLENSKY ET J. GORBOF

Nº 218

FEVRIER 1970

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

Всю переписку просят временно направлять по адресу :

Mr. S. Obolensky. Chemin de la Côte-du-Moulin

78 — L'Etang-la-Ville

Статьи непринятые к напечатанию не возвращаются, и Редакция не вступает в переписку по их поводу.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

Доклад Брежнева, два месяца тому назад произнесенный на декабрьском пленуме ЦК, остался неопубликованным по сей день. Это означает, что его содержание еще хуже тех его частичных перепевов, которые за последнее время появились в советской печати.

По сути дела, эти перепевы, и, в частности, передовица «Правды» от 13 января, не открывают ничего особенно нового. Бестолочь, приводящая к бессмысленным перевозкам товаров взад и вперед по всей территории Союза, расхлябанность «работников» хозяйственного аппарата, прикрывающихся раздутыми, подтасованными цифрами производства или такими же мнимыми сроками «введения в строй» новых предприятий, показная гонка за «выполнением плана» давно известны всем, кто следит за советской действительностью и, в частности, нашим читателям. Не новы и «перебои» в «снабжении населения продуктами животноводства», о которых «Правда» сочла нужным упомянуть: в «Возрождении» уже отмечалось, что по вполне точным сведениям мясо и молоко снова стали исчезать в городах начиная с прошлой весны. Не новость и беспрестанное замедление темпов роста промышленного производства СССР, т. е. его всё большее отставание от подлинно передовых индустриальных стран.

Новость лишь в том, что об этом теперь стали писать с некоторой долей откровенности (только «некоторой» долей, так как, повторяем, сам доклад Брежнева не стал достоянием всенародной гласности и полностью доведен до сведения только закрытых партийных и около-партийных «коллективов»). Без крайней нужды не было бы, однако, и этой частичной откровенности. Но и это — не такая уж неожиданность: мы могли сообщить уже года два тому назад, что по мнению крупнейших советских экономистов народное хозяйство Советского Союза близится к полному параличу и что серьезность этого прогноза известна партийному «руководству».

Как видно, если не мириться с этим надвигающимся параличом, то пришло время что-то делать. Но что?

Всё та же передовая «Правды» (конечно, и в этом перепевая генсека) обрушивается на мертвящий бюрократизм «планирующих органов», на иллюзорность принимаемых ими решений, на самодурство министерств, отказывающих в «дове-рии» предприятиям, находящимся у них в подчинении. Отсюда и вывод, который делает «Правда», — о непригодности «старых методов» на «новом этапе». Но что это значит? Если расстаться со старыми методами (которые в действитель-

сти едва ли были пригодны когда бы то ни было), то какими новыми методами их заменить? Как покончить с этим бездушным администрированием и с этим всеобщим недоверием всех ко всем, которые, действительно, заели всю жизнь страны?

Как? — Очень многие это знают во всем «социалистическом лагере». Очень многие знают это и в Москве, одни с упованием, другие со страхом. Чтобы оживить замершую хозяйственную деятельность людей, надо сначала оживить их души, пробудив в них давно у них украденное чувство доверия. И меньше чем через две недели после тревожной передовицы «Правды», всю суть дела выложил, на пленуме пражского ЦК, новый чехословацкий министр плана Гула. Там, в Праге, о «новых методах» нет больше речи, там посаженные Кремлем «нормализаторы» с перепугу загоняют свой народ в положение, в сущности, худшее, чем при Новотном, и завинчивают все гайки экономического принуждения, чтобы заставить работать людей, потерявших последние остатки доверия, а тем самым и всякую охоту к труду. Увлечшись обличением «социализма с гуманным лицом» и «социалистического рыночного хозяйства», о которых мечтали Дубчек и Шик, Гула и заявил теперь :

«Вдохновители этих начинаний знали превосходно, что важнейшая предпосылка для успеха их плана заключалась в том, чтобы *лишить партию ее решающего влияния на экономическое развитие страны*» (курсив наш).

Не знаем, верно ли, что вдохновители подавленной чехословацкой реформы это сознавали вполне и со всеми выводами, которые отсюда проистекают. Но нет ни малейшего сомнения в том, что народ в Чехословакии начал оживать, когда почувствовал прекращение партийного гнета, — и этого не могли вынести брежневцы с ульбрихтами, потому что для них хозяйство — всего лишь одно из многочисленных средств держать людей в беспрекословном повиновении.

Вот почему никакие доклады Л. Ильича Брежнева и никакие его переписки на страницах «Правды» не могут открыть никакого выхода русскому народному хозяйству. Недаром пробуждение России от сталинской летаргии началось с евангельских слов «Не хлебом единым жив человек». Хлеб будет, когда человек оживет, когда он вырвется из железного кольца недоверия и страха, которым партия Ленина-Сталина сковала всех и всё.

В России, не понимать этого не может никто из тех, очень многих, кто давно уже видит надвигающийся на страну паралич — и возрастающую китайскую опасность на Востоке.

«В»

САЛОН MADAME T.

В полученном мною письме меня просили позвонить по телефону, по поводу реставрации картины. Письмо было подписано Lydia T. Она указывала, что мой адрес дал ей мой друг monsieur X. Имя Lydia T. было мне совершенно незнакомо.

И среди моих друзей и знакомых я не мог припомнить никого, кто носил фамилию X. Но это не имело значения. По телефону мы условились, что я приеду сегодня же, после завтрака.

Когда я просматривал за завтраком газету, мое внимание остановила статья, помещенная в литературном отделе, — статья была посвящена новому, недавно вышедшему роману. Имя автора было Lydia T. Из статьи можно было узнать, что автор принадлежит к группе сюрреалистов, упоминалось о его большой коллекции картин этого направления. Была воспроизведена в газете и фотография молодой и миловидной женщины. Возможно, что это была та же особа, письмо которой я только что прочел. Могло быть и совпадение имен.

Дверь мне отворила служанка и на мой вопрос, могу ли я видеть Madame T., вместо ответа, пропустила меня в переднюю, отворила одну из дверей, куда, очевидно, я должен был войти, и, молча, вышла. Это было нелюбезно. Нормально, она должна была просить меня подождать и сказать, что пойдет предупредить хозяйку.

Я вошел в указанную дверь и сел в первое, стоящее неподалеку, деревянное кресло. Это был большой салон. Но обстановка его не походила ни на какую из тех обстановок, какие обычно бывают в салонах. Первое, что бросилось в глаза, была огромная клетка для птиц. Клетка занимала всю стену у окон — несколько человек, не сгибаясь, могли свободно в ней поместиться. Клетка была причудливой формы с какими-то, будто готическими, башенками по углам. По замыслу строителя, она, очевидно, должна была представлять замок. Внутри ее, по сторонам были помещены живые растения с большими широкими листьями. С пола поднимались вверх и ползучие растения. Клетка была населена множеством птиц, больших и малых, разных пород. В такой большой клетке, среди растений, птичье население, видимо, чувствовало себя отлично. Оно было в движении, перелетало, перепрыгивало. Весь салон был наполнен веселым шелканьем, посвистыванием, щебетанием.

Я смотрел на птиц, кисть руки моей лежала на ручке кресла, там, где образуется перегиб. Подняв в какой-то момент руку, я, с испугом, увидел, что рука моя, почерневшая, высохшая, удлинившаяся, осталась на ручке кресла. Невольно схватился я одной рукой за другую — моя рука была на своем месте. Но и деревянная рука кресла оставалась на своем месте. Это была рука в натуральную величину вырезанная из дерева на перегибе ручки кресла.

Я стал осматриваться по сторонам. Салон был освещен светом рассеянным, затемненным, потому что клетка с растениями заслоняла свет, идущий из окон. Салон был обставлен несколько по музейному — стены завешаны картинами и гравюрами, было несколько скульптур, в разных местах у стен стояли витрины, с многими предметами, которых разглядеть я не мог. Произведения современные соседствовали со старинными. Выделялась довольно большая скульптура белого мрамора в форме сфинкса. Но бюст и голова представляли молодую женщину. В ее загадочной и соблазнительной улыбке, в высокой прическе времен белых париков с локонами, было что-то отталкивающее. Скульптура относилась, видимо, ко времени Второй Империи. Это был своего рода сюрреализм той эпохи.

Сюрреализм не есть исключительная находка нашего времени. Уже в отдаленные времена, начиная, быть может, с Иеронима Босха и его последователей, создавались произведения, где фантастический элемент вводился в реальную обстановку и изображался с большим реализмом, что давало ему большую правдоподобность и убедительность. Особенно часто это проявлялось в гравюрах. Произведения прошлых времен были подобраны в этом салоне соответственно этой линии.

Но не всякое произведение современного сюрреализма могло найти здесь место. Была проведена особая линия. В сюрреализме тридцатых годов существовало особое направление. Фантастический элемент заключал в себе нечто непонятное, страшное, отталкивающее. Старались выявить в картине стороны подсознательные. Оказали влияние и фрейдовские теории. Большое влияние оказали и собрания восковых фигур, которые можно видеть в уличных, ярмарочных бараках. Здесь старались привлечь внимание и возбудить любопытство зрителя чем-то страшным или отвратительным. Здесь можно было видеть, например, восковую фигуру лежащей женщины в красном платье, с длинными распущенными волосами и безумными глазами, в полумраке, освещенную сбоку таинственным светом. Фигура дышит — видно, как поднимается и опускается грудь. В руке у нее кинжал. И всё в таком роде. Этот жанр

отразился на многих работах сюрреализма этого времени. И только этот жанр был допущен в этот салон.

Помнится, мне случилось раз увидеть в уличном бараке на ярмарке, в банке, будто со спиртом, монстра, отдаленно напоминавшего новорожденного ребенка. Были указаны дата и место рождения. Монстр явно вызывал в зрителе чувство отвращения. Но, присмотревшись внимательно, я заметил в одном месте шов нитками, недостаточно искусно заделанный, — очевидно, монстр был сфабрикован из резины — это был своего рода *homunculus*. Мое отношение сразу изменилось. Теперь я рассматривал монстра и оценивал его только как работу скульптора — безобидного жулика. Но в этом салоне не было ничего, что могло бы вызвать улыбку. Раз установленная линия подбора была проведена уверенно, с толком и пониманием дела. Всё здесь собранное должно было отражать темные, неприятные, отталкивающие стороны жизни. Была здесь композиция, составленная из хребтов рыб, ряд интересных гравюр времени Калло и в его духе, с дьяволами и фантастическими существами с крыльями летучих мышей. Но это было еще менее дьявольски, чем многое другое в этом салоне. Это было честное, неприкрытое изображение дьяволов. Был здесь портрет двух молодых женщин, склонившихся дружески одна к другой, очень умело написанный, судя по костюмам времен Директории или Консулата. Возможно, что портрет был написан одной из изображенных женщин и потому передалось — угадывалось, что дружба их зашла далеко. Да, иначе, этот портрет и не мог бы войти в эту коллекцию.

Было очевидно, что салон разделен резко на две части — клетка с птицами представляла райскую сторону, заключала добрые, светлые начала. Всё остальное было отведено силам демоническим, темным. Но этой стороне было отведено значительно больше места и внимания.

Вошла хозяйка. Еще три часа тому назад я не знал о ее существовании. За это время я получил от нее письмо, говорил с ней по телефону, прочел о ней статью и теперь видел ее перед собой. Она выглядела, как нужно было ожидать, значительно старше, чем на фотографии, помещенной в газете. Среднего роста, брюнетка, она далеко не утратила следов милливидности. Но что особенно привлекало внимание — это выражение крайней усталости на неодушевленном, безучастном лице ее. Я сразу увидел, что она не в духе, или точнее — в самом плохом расположении духа. Картина, которую предстояло реставрировать, была довольно большая, примерно в средний рост человека. *Madame T.* не бралась доставить картину в мое ателье. Я, со своей стороны, не хотел возиться с

перевозкой. Было условлено, что я сделаю нужную работу на месте. Я сказал ей, что читал утром статью о ее романе и высказал несколько замечаний об ее салоне. Это, видимо, несколько расположило ее в мою пользу.

— Monsieur X. мне много говорил о вас, — сказала она. Я слегка наклонил голову, как бы благодаря monsieur X. за его внимание ко мне. Это вовсе не был момент объяснять, что monsieur X. мне совершенно незнаком. Мы прошли по салону и madame T. показала мне кое-что из наиболее редких вещей. Показала пистолет, из которого какая-то забытая знаменитость прошлого века в кого-то выстрелила. Не помню, в кого и почему. Дело, в свое время, вызвало много шума. Был тяжело-го стиля Второй Империи золоченый диван. И диван этот имел свою мрачную историю. Не буду ее излагать. Боюсь, что я многое позабыл и могу не совсем правильно передать некоторые подробности. Между тем, запутанная история эта требует внимательного изложения, тем более, что она связана с выстрелом из пистолета, о котором упомянуто выше.

В витринах находились предметы, казалось бы — самые обыкновенные. Но все они принадлежали каким-то замечательным позабытым лицам прошлых веков, были свидетелями интриг, скандалов, драм, если не преступлений, которые, в свое время, наполняли столбцы газет и вызывали толки.

Как всякий коллекционер, которому его коллекция стоила многих хлопот, забот, хождений по аукционам и антикварам, madame T. видимо гордилась своей коллекцией. — Это единственная картина, которую Проспер Меримэ сделал в своей жизни, — говорила она, показывая небольшую гуашь, где изображена была зловещего вида сова.

Рассказывая истории всех этих, как видно любимых предметов, она несколько оживилась. В этой атмосфере ей, видимо, дышалось легко.

Было решено, что я начну работать завтра.

*
*
*

Комната, где я работал, была большой и светлой. Большой стол посредине указывал будто комната предназначалась для столовой. Но не было в ней ни буфета, ни шкафчика для посуды, ничего, что указывало бы, что здесь завтракают и обедают. Но и в кухне, куда время от времени мне приходилось входить, чтобы разогреть клей, или растопить воск, не было ни кастрюлек, ни посуды, ни пакетов с припасами, ничего, что указывало бы, что здесь готовят еду. Служанка сидела

в кухне, ничего не делая, уставившись в какую-то точку и, всякий раз, когда я входил, делала вид, что я ее беспокою и ей мешаю.

Раз я попросил у нее газет — подстелить под картиною, чтобы не испачкать ковер. — У нас нет газет, — сухо ответила она. — У вас никто не читает газет? — Она ничего не ответила.

И когда в коридоре я встречался с господином почтенной наружности, — Monsieur, — говорил он, учтиво уступая мне дорогу. — Monsieur, — отвечал я. Мы никогда не обменялись другими словами. Но вскоре я заметил, что все три лица, жившие в этом доме, не говорят друг с другом. Встречаясь в коридоре — я это видел потому, что дверь в коридор всегда была открыта — они расходились молча. За все время моей здесь работы, ни разу отрывок разговора или, хотя бы, несколько слов, не дошли до меня из соседних комнат.

Время от времени хозяйке нужно было пройти через столовую. — Bonjour, Monsieur, — едва выговаривала она, проходя через комнату.

Между тем, мы живем в городе, где внешняя вежливость и любезность установились прочно. Две девочки, которым обеим вместе семь лет, в саду, на площадке, предназначенной для детей, роются в куче песка. Одна девочка наполняет чашечку песком и протягивает ее другой. — Merci, — говорит ее подруга и берет чашечку. Madame Т., конечно, хорошо знала, что в качестве хозяйки дома, она должна сказать несколько, хотя бы незначительных, хотя бы излишних, но любезных слов. Она должна спросить — достаточно ли здесь светло, не нужно ли мне чегонибудь для работы, сделать какоенибудь замечание о картине или о моей работе, даже если бы это было ей вовсе неинтересно. Но она проходила как тень.

Сначала я удивлялся, но вскоре, глядя на нее, понял, что она находится в таком состоянии подавленности и упадка, что уже не в силах сделать маленького приветливого усилия, чтобы казаться любезной.

Иногда за хозяйкой входил кот странной породы, которой я никогда не видал. Возможно, очень вероятно, что кот этот, вполне заслуженно, получил премию на какой-то выставке и потому и попал в этот дом, где всё должно было чем-нибудь отличаться. Но в таких обстоятельствах расспрашивать хозяйку о коте было, конечно, невозможно.

Уже дня через два, три эта обстановка начала меня тяготить. Очевидно, я попал в этот дом в неподходящий момент. Мое присутствие, нужное по каким-то причинам, было стес-

нительно, неудобно для всех. Но оно начинало становиться стеснительным и неудобным и для меня.

Картина, которую предстояло реставрировать, была написана сравнительно недавно. Но она находилась, очевидно, в плохих условиях для сохранности и успела сильно пострадать. Не знаю, как она попала в этот дом. Первые дня два, три я вовсе не обращал внимания на то, что изображает картина, и был занят только технической стороной дела. Но, когда всё было вымыто, очищено, обнаружился сюжет. На первом плане слева находилась фигура человека в пальто и котелке. Глаза его были закрыты. Несколько вправо, на втором плане, находилась другая фигура, такая же точно по силуэту, но несколько меньше, повернутая спиной, уходящая. Это был двойник изображенного персонажа. Здесь очевидно происходило раздвоение личности. Внизу справа находился бесформенный комок, составленный будто из обрывков тканей. Это была наиболее поврежденная часть картины. Фоном служило грозное черно-зеленое небо и бурное море. Всё это было очень характерно для сюрреализма 30-х годов. Литературная сторона явно преобладала над живописной. Всё было написано в манере зализанной, некоторые детали были тщательно выписаны. Сюжет стремился сообщить зрителю ощущение безнадежности, безысходности, беспросветности, вызвать воспоминание о давно виденном кошмарном, удушающем сне.

Прошло несколько дней, но положение в доме оставалось то же. Молчание и тишина, которые мне сейчас казались напряженными, тяготили меня все больше и больше. Я приходил часа в два, когда нормально оканчивается завтрак. Если бы я увидел на столе несколько чашек от кофе, в кухне несколько невымытых тарелок, это бы меня немного успокоило. Это указало бы, что этот дом жилой, как все другие, что он населен не проходящими тенями, а живыми людьми. Но этого я никогда не увидел. Мне нужно было почувствовать какое-нибудь движение жизни в этом мертвом доме. Никто ни разу не позвонил и не вошел в квартиру. Обитатели ее тоже, казалось, никуда не выходили. Чем были заняты они, сидя молча, каждый в своем углу? Газет они не читали. Это все, что я знал. Мне начинало казаться, что за дверьми комнат, всегда закрытыми, скрывается что-то тайное и недоброжелательное.

К моему напряженному состоянию стало примешиваться недовольство самим собой. Я отдавал себе отчет, что работаю в наилучших условиях. Комната была светлая. Шум мешает при работе — никакой шум до меня не доходил. Не нужно было отвлекаться от работы, чтобы вести какой-нибудь ненужный разговор. Как же случилось, что эти благоприятные усло-

вия будто повернулись обратной стороной и приняли тягостную для меня форму? — Конечно, кроме внешних условий есть и другие, — возражал я сам себе. Наконец, я мог хоть раз попробовать обратиться с несколькими словами к господину, с которым встречался в коридоре. Быть может, он оказался бы милым и разговорчивым. Когда хозяйка проходила через комнату, я мог бы, всетаки, заговорить с ней, если не о коте, то обратить ее внимание на мою работу. Работа была теперь хорошо подвинута. Тусклый, грязный, местами прорванный холст был неузнаваем — уже почти всё определилось, выяснилось. Были видны теперь не только пуговицы, но и нитки, которыми пуговицы были пришиты на пальто главной фигуры. Такие детали придавали холсту большую убедительность и как бы указывали, что всё это не выдумка, а что, действительно, всё так и было.

Однако, заговорить я не мог. Я не мог нарушить закон напряженного молчания, который, как Дамоклов меч, тяготел над этим домом. Мой голос показался бы мне самому чуждым и страшным, как если бы я, находясь один ночью в огромном необитаемом и пустом доме, произнес какое-нибудь слово. Говорить о раздвоении личности было бы, конечно, преувеличением, но во мне явно проявлялись противоречия, и это вызывало во мне раздражение и недовольство самим собой. Я был здесь случайным и совершенно чуждым лицом, которое завтра уйдет отсюда навсегда, и незачем мне поддаваться настроению будто я вовлечен в орбиту этого дома, будто я принимаю участие в его судьбах. Между тем, то настроение мрачной беспросветности, которое, по замыслу, заключалось в картине, казалось мне теперь, распространилось на весь дом.

Неопределенная часть картины, справа внизу, стала выявляться. Стало видно, что этот бесформенный комок представляет распавшееся на части тело женщины. Части тела перемешаны с остатками одежды. Теперь ясно выделились часть груди и розовая нога в черном сетчатом чулке. Стало видно, что ближайшая волна уже подкатилась, вскоре море поглотит и человека с закрытыми глазами и его двойника, и то, что еще осталось от женщины.

Иногда я подходил к двери, что вела в коридор, и прислушивался — не донесется ли сюда из салона щебетание птиц, но их щебетание сюда не доходило. Я возвращался к холсту.

Если бы в одной из комнат раздался выстрел или раздирающий вопль, это меня бы не удивило и не испугало. Я был к этому подготовлен и принял бы это, как нормальное развитие событий. Так в театре зритель на представлении уже знакомой ему пьесы знает, что в таком-то месте произойдет драма-

тическая развязка. Я только не знал в какой момент она наступит. Я спешил, надеясь закончить работу до наступления драмы, но спешить было нельзя. Розовая нога на картине требовала внимательной работы, как и кружева из которых она выдвигалась. Я прописывал поврежденные места ниток на чулке и ждал выстрела.

Так прошло дня два.

Наступил момент, когда я вошел в кухню сказать служанке чтобы она позвала хозяйку. Работа была окончена, и следовало, конечно, перед уходом ее показать. В кухне не было никого. Стучать в двери незнакомых мне комнат, нарушить стуком мертвую тишину дома, казавшегося пустым, было невозможно. Я сложил свои материалы, оставил на столе записку, где сообщил, что работа моя окончена, указал, что следует осторожно обращаться с картиной пока она не просохла, и, осторожно, без стука, закрыв за собой дверь, с облегчением вышел на улицу.

Короткое время спустя, я получил письмо от madame T. Она благодарила меня за сделанную работу, писала, что непременно хочет меня увидеть, упомянула о чеке, который она должна мне передать. Теперь, в обращении ко мне в письме она называла меня не — Monsieur, — а — Cher Ami.

Несмотря на это, я без большой охоты, осторожно звонил в двери квартиры. Воспоминания мои еще не изгладились. Дверь отворила сама хозяйка. Она была иначе причесана, заботливо одета, помолодела и стала почти совсем похожа на свою фотографию в газете.

— Как я рада вас видеть, — говорила она, крепко пожимая мне руку. — Как это любезно с вашей стороны сразу отозваться на мое письмо. Вы не знаете, дорогой друг, какую важную роль вы сыграли в моей жизни и как я должна быть вам обязана. Я хотела вам это высказать лично и рада, что могу это высказать. Но больше вы никогда, ничего не узнаете — прибавила она с полупечальной улыбкой, как бы сама об этом сожалела.

— Вы ищете картину? — спросила она, заметив, что я обвожу глазами стены салона. — Нет, картины здесь нет, она ушла. А между тем, я очень любила эту картину. — Она развела руками, как бы говоря: — но это было неизбежно, было не в моей воле.

Я смотрел на нее так, как если бы видел ее в первый раз. Это была совсем другая особа, и я мог только удивляться столь чудесному превращению. Ничем не походила она на тень, которая, еще недавно, безмолвно скользила по комнатам.

Мы попрощались, как старые и добрые друзья.

* *
*

Прошло короткое время. Был поздний час. Нас несколько знакомых — небольшая компания — засиделась в кафе. Кафе уже закрывалось, огни были притушены, гарсоны сдвинули столы и поставили на них стулья, уборщицы начинали подметать и мыть пол. Все посетители давно разошлись. Но наши разговоры не были закончены. Мы продолжали оставаться. Уже два раза заведующий, проходя мимо нас, говорил — *mes-sieurs, dames, on ferme.* — Но мы были свои люди в этом кафе, мы не стеснялись. Наконец, не дожидаясь пока дамы в полутемноте найдут свои перчатки, я вышел на улицу и остановился, ожидая пока все выйдут. В этот час прохожих не было. Улица была пустынна. Издали я увидел приближающуюся пару, она вышла, очевидно, из ближайшего, тоже закрывающегося, кафе. Дама держала под руку высокого господина, она была в вечернем платье, громко говорила, смеялась, видимо кокетничала. Они прошли совсем близко от меня. Я узнал *madame Т.* Господин был мне вовсе не знаком. Возможно, что занятая интересным разговором, она меня не узнала. Возможно, что правильно рассудила, что не стоит в таких обстоятельствах обмениваться пустыми фразами.

Я смотрел ей вслед. Причины ее чудесного превращения объяснялись. Положение прояснилось. И к лучшему. Будто райские, добрые силы салона взяли перевес над силами демоническими. Я должен быть доволен, что всё обошлось так благополучно. Я ведь сам принимал в этом какое-то непонятное мне участие. Могло, ведь, все обернуться иначе. Было бы лучше, конечно, если бы моя роль была, как говорят актеры, выигрышной. Если бы я мог рассказать, — не говорю о каком-то моем героическом поступке — это могло бы показаться неправдоподобным, — но о том, как я проявил известную проницательность, и как мое осторожное, но энергичное вмешательство, в последний критический момент, предотвратило неизбежную катастрофу и, разом, изменило и разъяснило всё положение вещей. И все тайны объяснились бы сразу. К сожалению, сделать это невозможно — всё было так, как изложено выше.

Как ни старался я, перебирая в памяти всё это, давно прошедшее, найти и приписать себе хоть какие нибудь заслуги, решительно ничего найти не мог.

Я был вовлечен в сеть обстоятельств, мне непонятных, которыми двигали силы мне вовсе неизвестные. В таких усло-

виях спасти неизвестно кого и неизвестно от чего — было невозможно. Да я и нимало не собирался этого делать, а только и старался поскорее выбраться из моего неудобного положения. И, несмотря на всё это, помимо меня, важная роль была мне определена.

Я никогда не узнал, в чем она состояла. Это остается в архиве секретов салона Madame T.

М. Ф. Андреевко



Ласточка

(Рассказ)

— Меня зовут Янь-фей. Ласточкин Полет. Правда, смешно? У китайцев всегда смешные имена. Будь я француженкой, меня звали бы Люсиль или Одэтт, в честь какойнибудь бабушки. У нас не так. Думают, думают, роются в древних книгах, спрашивают ученых людей. В деревнях даже колдунов спрашивают — какое бы найти имя чтобы всем угодить — и богам, и людям. А вам нравится? Или лучше просто — Ласточка? Ну, так и зовите.

Одного ее парижского акцента было достаточно для Рожэ Гамэна. Старик с ума от нее сошел. Впрочем, все это говорилось уже потом, за обедом. Сначала она умоляла :

— Капитан, я знаю, что вы благородный человек. Спрячьте меня. Я убежала от мужа. Если нужно, я заплачу. У меня сейчас с собой мало денег, но пока возьмите вот это, и это, и это...

И делала вид, что готова снять с себя тяжелые кованные браслеты, бриллиантовые серьги, брошь загогулинами. Предусмотрительно нарядилась.

Рожэ кряхтел, мотал головой, расшаркивался. Опять мотал головой.

— Mais non, Madame... Дело не в плате. Это маяк. Поймите, ма-як. По правилам тут могут быть только служащие. Вот я, начальник. Радист — мой друг, Серж. (Сергей церемонно поклонился). И, конечно, прислуга — сторож, повар, бой. Китайцы.

Объяснял очень подробно, кто назначен портовыми властями, кто полицией. У кого какие права — их было мало. Какие обязанности — их было еще меньше. Зато ответственность огромная, кругом кишат пираты. Madame не знает, что это за народ. В любой момент могут налететь, разнести всё вдребезги. Ее первую утащут со всеми ее сокровищами. А кто будет виноват? Он — Рожэ Гамэн. Итак — никаких посторонних. Инструкция.

Рожэ закурил трубку, почесал за ухом, почесал под бородой — она у него росла из шеи. Вдохнул .

— ...правда, есть исключение... на маяк допускаются жены.

Развел руками, скорчил уморительную гримасу.

— Но, увы, Madame, мы не имеем чести... я хочу сказать, ни один из нас не имеет чести быть вашим супругом.

— Даже повар! — Как она звонко смеялась. Да ей ее собственный муж надоел. Так надоел, так надоел. Она его терпеть не могла. — У Ха-сян? Вы верно слышали?

Кто не слышал об У Ха-сяне? Фабрики, пароходы, собственный банк. Говорят, и публичные дома. Говорят, его коллекцию нефритов хотел купить шведский король. Чорта с два! Будет У Ха-сян продавать свои нефриты, когда он сам король в этих водах. Захочет, и его люди в одну ночь завалят мусором вход в Вампу, заблокируют иностранные суда, наделают хлопот шанхайцам. Этому У Ха-сяну да не насолить? Очень было соблазнительно.

— А если узнают?

У милой Ласточки на всё находились ответы.

— Узнает только мой брат. Я ему уже отправила записку.

Рожэ и Сергей переглянулись. Джонка-то ушла, теперь и выставить эту даму не на чем. Ну и хранители маяка.

А Ласточка поиграла кольцами, стрельнула глазами в одного, в другого.

— Мой брат — не маленький человек. Он и направил меня сюда.

И пускай У Ха-сян посылает сыщиков по всему Шанхаю. У Ха-сян дурак, ему и в голову не придет искать ее здесь. Позже, когда всё успокоится, брат заберет ее отсюда.

Сергей молчал, молчал, но этот брат вывел его из терпения.

— Почему же вы у него не спрятались?

У Ласточки было много улыбок. Одна, снисходительная, чуть чуть поднимала уголок рта.

— Видно, вы недавно в наших краях, Monsieur. Не знаете, что такое китайская семья. Брат должен быть осторожен. Ведь, когда китаянка уходит от мужа, это скандал на весь свет.

Нацепила другую улыбку, лукавую, женскую.

— Уеду в Париж. Уверяю вас, мне там не будет скучно.

Что с ней было делать?

Рожэ капитулировал :

— Madame, клянусь вам, я поступаю против закона. Я должен был радировать в порт. Но мы, моряки...

Дальше всё пошло кувырком. Рожэ уступил гостье свою комнату, сам перешел в наблюдательную будку, от боя нестерпимо несло бриллиантином, а Сергей каждый раз уверял себя,

что не влюблен. Ни капельки. Он на первых порах даже злился. Через неделю он говорил :

— Тот вечер, когда ты прилетела, Ласточка...

Вечер был прелестным, каким ему и полагалось быть в конце сентября, у входа в Ханьчжоуский залив. Вокруг островка море плескалось лиловыми волнами. Как Ласточкино платье (она часто носила лиловое). Дальше волн не было. Голубая гладь, за ней расплавленное серебро. Солнце уже приняло предсмертный рубиновый оттенок — от линии гибели его отделяла лишь неширокая тучка. Как оно не хотело погибать, как словно в агонии, всё больше наливалось огнем. И когда переполнилось огнем солнце, ему словно стало немоготу и оно прорвало тучу, выбросив косые алые струи. Залив загорелся, огонь перекатился через островок на весь океан, запад смешался с востоком.

Рожэ никогда не пропускал этой мистерии заката, следил за ней по громоздким старинным карманным часам. И никогда не забывал — у старика всё было строго по расписанию, — вовремя сказать :

— Через пять минут будет *claque*.

При этом он довольно улыбался в свою нелепую шейную бороду, как будто точность ухода солнца была его заслугой.

Кровавый свет стал наконец нестерпимым. Сергей пробовал передвигать свой шезлонг и так, и этак, — не помагало. Он отвел глаза и тут заметил что-то похожее на птицу. Птица приближалась быстро. Да нет, какая птица. Суденьшко.

Было чем подразнить Рожэ. Сказал ему злорадно :

— Джонка. Верно из Нинбо.

Рожэ так и встрепенулся : — Где?

Сергей лениво показал стаканом : — Вон там.

Джонка, грациозно изогнув парус, летела прямо на маяк, узкая, легкая, словно радовалась и вечеру, и гладкому морю, игре красок сверху и внизу.

Рожэ спокойно, не повышая голоса, выругался. Сначала по-французски, потом покрепче по-китайски, ритмически чередуя ругательства. Джонка была подозрительная, шла под парусом. На кой дьявол парус, когда ветра-то нет? И гребцов не видно. Ясно — моторная, а парус болтается так, для красоты. Кто бы это? Если норвежец Нильсен — он часто тут плавает, — то чего его несет на маяк? А если не Нильсен, то...

Снизу по витой лесенке, уже бежал перепуганный сторож, кричал на своем жаргоне :

— *One piece woman come!*

И без него разглядели. На носу джонки показалась строй-

ная женщина в светлом платье. Машет шарфом. Принимайте гостей.

Сергей долго не мог понять, как ее впустили. Пока Рожэ ругался, пока сторож бежал назад вниз, скрипучая железная дверь в каменной стене маяка, заветная дверь, через которую не прошел еще ни один посторонний, открылась. Бой — этот идиот, эта каналья! Вот вам и инструкция.

Ласточка сидит за столом, дает любоваться собой, — знает, что хороша. Поворачивает то к одному, то к другому тонкое личико над высоким воротником, поправляет жемчужную булавку в волосах — волосы как лакированные. И щебечет.

Первая женщина. У Рожэ им счета не было, и первым, и вторым, и последним. Он давно их перепутал. А вот появилась эта, и те куда-то отошли, словно их и не было. Но разве она женщина? Она — Ласточка.

Сергей — другое дело. Он помнил свою первую любовь хорошо. И вторую тоже. Были и еще, но их набралось не так много в памяти. Вероятно, поэтому свежо было чувство к каждой — боль или благодарность, надежда встретиться когданибудь снова, отплатить... за что? ну, было за что. Он помнил всё, что говорил им, что они ему говорили. Нет, он их не путал. Просто они стали не нужны. Ласточка, твои крылья!

Рожэ стал лазить на кухню. Сам готовит луковый суп, мастерит *ratatouille*. Она приносит к обеду розовые нефритовые палочки, — не из той ли знаменитой мужниной коллекции? Но где нефриту до ее пальцев? И Сергей и Рожэ написали бы о них поэмы, если бы умели. А не умеешь, — марш на кухню, готовь *ratatouille*, или сиди на вышке, глотай виски, со льдом, без льда, всё равно, лишь бы рядом с Ласточкой. Или смотри на закат, на солнце, — жди пока оно сторит и утонет.

Зато ночью.

О чем грезит Рожэ, Сергей догадывается. Конечно, о том же.

Сам он раньше, когда не спалось, прикидывал, — сколько у него накопится денег. Деньги вносились на книжку аккуратно, на маяке их некуда было тратить, кормил и поил порт. Выходило солидно, за три года контракта тысяч двенадцать. Правда, китайских долларов. Разделить на два с половиной. И в американских получалось около пяти. Еще недавно эти тысячи казались ему состоянием. Теперь они стали тысяченками. Пусть Ласточка ненавидит своего У Ха-сяна, но она привыкла купаться в деньгах. Что ей какой-то русский радист?

И всётаки нельзя было не думать о ней, не ожидать чего-то. Он и дождался.

Опять был закат, такой же, как в тот вечер. Они были од-

ни на вышке, Сергей со своим виски, она с маникюрной пилочкой. Точила коготки.

Он никогда не говорил ей о своей любви. Она заговорила первая.

— Я всё знаю, Серж. Я тоже люблю вас. Но сегодня я буду принадлежать Рожэ.

Он закричал. Вероятно, как сумасшедший.

— Почему? Ласточка, почему?

В тот день она была в черных шелковых шароварах, в простой белой курточке. Если бы не шелк, не кантонское дорогое полотно — совсем рыбацкая. И такая, ненарядная, казалась еще краше.

Взглянула на него. Глаза сухие, а как будто плакала.

— Ласточка, почему?

— Потому что ему недолго осталось жить.

Только китаянка способна додуматься до такой чуши. Кто знает, сколько кому осталось жизни? Рожэ здоров, как бык, его обухом не перешибешь. И эти волосатые лапы. Красная рожа, дурацкая борода от самой шеи. Сплошная реклама здоровья.

Пробовал успокоит себя. — Нет, так нельзя. Рожэ — мой друг.

Не успокоился. Еще больше разбесился.

— Я скорее убью вас.

И тогда она посмотрела на него, словно всё ему отдавая, и покорно сказала, сказала так покорно — Убейте, — что ему сразу стало ясно. Убить он ее не убьет, а надеяться не на что.

Встал и ушел к себе.

Обедать с ними, — конечно, нет. Пусть они там празднуют свой медовый месяц — они ему противны оба. Даже духи ее, — он чувствовал их в воздухе. Даже имя ее птичье. Китайщина проклятая! Ну их всех к чорту!

Вытащил из шкафика едва начатую кварту виски и прямо из горлышка. Потом — бух в постель, — в костюме, в ботинках. Провалиться в тар-тарары.

Он видел сон. На маяк напали. Маяк грохотал единственной своей пушченкой. Рожэ, что ли, старался? За дверьми зашаркали — много, много ног. Надо было проснуться, подняться. Тут в комнату ворвались, хватили чем-то по голове.

Проснулся, чтобы только пробормотать: — Ах ты, стерва! — И опять в подушки. В сон или обморок.

Потом во второй раз, на какой-то момент пришел в сознание. Сама Ласточка, она была около него одна, резнула по глазам электрическим ручным фонариком. Может быть тормошила. Ничего он не мог толком вспомнить, слышались толь-

ко собственные слова : — А Рожэ? — И ответ ее : — Я вам говорила, что ему недолго осталось жить. — Должно быть подняла фонарик к своему лицу, потому что он увидел улыбку, — это запомнил, — такой жестокий оскал. Тут он спросил : — Разве ласточки кусаются? — И всё.

Рассвет уже пробился сквозь жалюзи, раскрасил комнату в розовое, когда Сергей очнулся по-настоящему. Кое как поднялся, охая, крихтя, держась за мебель, за стенки, стал карабкаться вверх. С площадки увидел, — не в будке, в собственной спальне, в постели у окна, Рожэ, — так и есть, — с перерезанным горлом. Глаза открыты, тоже проснулся бедняга от удара. Кровь на бороде, на пижаме. Удивленно смотрит Рожэ в потолок, ничего не понимает. И Сергей ничего не понимает, опустился на колени перед кроватью.

— Рожэ, за что она тебя?

Там его и нашли.

Маяку нельзя не гореть. О том, что маяк потух, в Шанхае узнали сразу. Радировали пароходы, дело было серьезное, кругом рифы. И ночь выдалась бурная. Куда девался маяк, что с ним? Подняли тревогу. Но шанхайские власти не очень торопились на выручку маяку, знали, что выручать в таких случаях некого и нечего. Только к девяти часам, когда солнце уже лупило на полный ход, прикатило портовое начальство — англичане. С ними на другом катере — полиция. На всякий случай все обвесились оружием.

Казалось, даже немного разочаровались, что один живой нашелся. Допрашивать не стали, видели каков, лишь попросили, формальности ради, опознать убитых. На руках снесли вниз, мимоходом показали разбитые радио-аппараты. Потом еще ниже — в помещение для прислуги. Там — тоже зарезанный, повар. А сторож? А бой — напомаженный красавчик? Эти куда делись? Нигде их не оказалось. Так вот почему они впустили Ласточку — свои люди. Сказал вслух, проболтался. Начальство сразу же ухватилось.

— Значит, это действительно была женщина?

Отпираться было поздно. Да, да, женщина.

Сергей уже ничего не соображал. Голова снова закружилась, затошнило. Отстали.

Отвезли в Шанхай, в госпиталь.

— Лежите, поправляйтесь.

Поправляйтесь, — легко сказать. Удар по голове был пустяшный. Стукнули, вероятно, кулаком, чтобы не мешал, не

лез не в свое дело. А быть может сама Ласточка фонарем своим электрическим смазала. Ни пролома черепа, ни раны, так — шишка. А голова все-таки вышла из строя. Днем Сергей еще туда-сюда понимал что и как, но по ночам всё мешалось в этой проклятой голове. У санитаров лезли из шеи рыжие бороды, треугольный чепец старушки-монахини превращался в парус и тогда... Ласточка, ну пусть он был старый, рыжий... но ведь он был так влюблен... и не ты ли сама... так зачем же... пальцы, как розовый нефрит, такие чистые, и этими пальцами ты — нож, и в горло ему, нож в горло большому старому ребенку, он готовил тебе *ratatouille*, ты им командовала, но ты, ты, сама пошла к нему, и ему недолго оставалось жить, и ты знала это, потому что сама всё вычислила и устроила, ты кусаешься, Ласточка, ты гадюка, ты мерзавка, ты преступница, но я не хочу чтобы тебя поймали... Уноси свои крылья, Ласточка, уноси...

— Ну как? — справлялись из портового управления.

— Бредит, — вздыхала в телефон монахиня.

Много помучились с ним, пока он не начал успокаиваться, — Ласточка всё не отставала. И когда он ел безвкусную овсяную кашу, и когда на рентген таскали и когда кололи шприцем и пичкали таблетками — везде и всюду была она с ним. Хотя теперь он не кричал, повторял мысленно: — Я знаю, что ты мерзавка. Но я не хочу чтобы тебя поймали. Унось, улетай...

Только через месяц врачи допустили к нему детективов.

Приехало трое: француз, потому что Рожэ был французом, англичанин — они ведь хозяева в порту и китаец — воды как никак китайские.

Англичанин спросил хмуро:

— Каким образом оказалась на маяке пиратка Ли Шу-инь?

Ли Шу-инь? Не Янь-фей? Не Ласточка? У Сергея чуть чуть отлегло от сердца. Может быть они действительно ищут другую.

Говорить правду не было опасно. Виновные — одни убиты, другие бежали. Рассказал что случилось, и об У Ха-сяне упомянул. Конечно, теперь было уже видно, что Ласточка никакая не жена У Ха-сяну. А если все-таки жена? С У Ха-сяном связываться не будут, слишком большая фигура. Могут замять дело.

Правду выложил осторожно. Про ночной визит Ласточки — ни слова. Ни про ее предсказания о Рожэ. Англичанин непеливо перебил:

— Она еще раньше была любовницей Гамэна?

Сергей пожал плечами :

— Откуда мне знать?

Тут его всем хором попрекнули, почему вообще не радировал. Опять пожал плечами. Как же он мог радировать? Хозяином маяка был Рожэ. Рожэ распоряжался.

Француз хитро прищурился:

— Не Рожэ, а она. Всех вас к рукам прибрала. И как ловко подготовила нападение.

Видно было, что он восхищался этой женщиной и забавлялся смущением Сергея. У Сергея же в мозгу мысль — боль снова сверлом сверлит : — Ласточка, смогу ли спасти тебя? Что мне придумать?

— Вы уверены, что это одна и та же женщина? А вдруг та, что была у нас, совсем не пиратка? И может быть она действительно сбежала от мужа? Муж мог выследить ее и заварил всю эту кашу... Разбесился.

Детективов эта гипотеза очень развеселила. Опять загалдели хором :

— Романтик вы. Вам бы сценарии для Холливуда писать. Такая шельма всякого проведет и не удивительно. И хороша, и воспитана. В Париже училась, в Sacré-Cœur : отец министром был. Могла идиотка блестящую партию сделать. Чорт ее дернул спутаться с коммунистами. Подобрала шайку и безобразничает. Родные от нее отказались. Но ей что? Грабит направо и налево...

— Да на маяке что же грабить? — не сдавался Сергей.

— Ваш маяк, молодой человек, был нужен ей как ба-аза.

Никогда еще не встречали детективы такого дурака. Все ему надо было разжевать. И как Ли Шу-инь наметила себе добычу — пароход из Амоя, что вез в Шанхай, в Центральный банк полмиллиона долларов, и как потопила она его, обстреляв из пушки. — Значит, пушка в самом деле грохотала, не во сне, — подумал Сергей. — И как потом налетела пиратская ватага на джонках, пассажиров, кто уцелел, того в воду, мешки с деньгами себе и до свидания. Но два пассажира спаслись в темноте, бросились к берегу вплавь, их в суматохе не заметили. На заре их подобрали рыбаки.

Сергей наконец обозлился.

— Если вы всё так хорошо знаете, зачем вам я?

Оказалось, что без него никак нельзя. Главный свидетель. Если пиратку поймают, его вызовут в суд опознать ее.

— Дело серьезное, — вздохнул француз. — Пиратов мы передаем китайским военным властям. А за пиратство — смертная казнь.

Как будто жалел. Не может француз не пожалеть кра-

сивой женщины, хоть и не видел ее никогда, знал о ней только по наслышке. Зато англичанин с китайцем без всякой жалости поддакнули :

— Смертная казнь.

Сергей не спрашивал, как это будет. Говорили, что в китайских тюрьмах осужденных душат. Надевают на шею петлю, вставляют палку. Перекрутят палку, чтобы затянуть веревку, и отпустят. Опять перекрутят... и так до трех раз. Надо же помучить как следует. Или это было раньше? Может быть отрубят голову? Или выстрелят в затылок? Всё равно — глупость. Он будет помогать им опознавать Ласточку — ха-ха-ха... Чтобы они ее тоже — веревкой, топором ли? Ха-ха... чтобы Ласточку? ха-ха-ха-ха-ха...

Налетела монахиня с парусом на голове. — Что вы мне делаете с больным? Как можно?

Опять на неделю — бред, галлюцинации, рыжая борода, голубые глаза Рожэ. Ничего не понять, но — Ласточка, ты мерзавка, ты... нет, я не хочу чтобы они тебя... уноси свои крылья, улетай...

Плюнули на него. Кому нужен свидетель истерик? Оставили в покое, порт разрешил уволиться до срока. Кати на все четыре стороны, растворяйся в массе других эмигрантов, Сергеев и не-Сергеев, — где вас нет.

Арест Ласточки положил начало карьере молодого репортера Мориса Дюваля. Он так расписал всю эту историю для своей газеты, «*Journal de Changhaï*», что редактор поморщился.

— Ну, знаете ли, для нас это слишком шикарно. Пошли-те лучше в Париж.

В городе, где недели не проходило без какого нибудь крупного события, аресты всяких пиратов и бандитов были мелкой хроникой. Вот когда Ли Шу-инь маяк захватила и пустила ко дну пароход, это — да! Уже одно убийство Рожэ Гамэна чего стоило, там было о чем писать. А арест — подумаешь. Рано или поздно красотку все равно бы арестовали. И «*Journal de Changhaï*» списал из полицейского бюллетеня то же самое, что списали все остальные шесть иностранных газет. Китайские тоже были немногословны.

« В ночь на минувшую среду, отряд международной полиции, под командой инспектора Лесли Брайана, произвел обыск в помещении китайской типографии на Синза Род. При

обыске были захвачены гранки перевода книги Ленина «Государство и Революция». В числе арестованных была корректорша Вей Фен-линь, в которой опознали начальницу пиратской шайки, знаменитую Ли Шу-инь, совершившую полтора года тому назад налет на Ханьчжоуский маяк».

Обиженный Дюваль забрал свой репортаж домой. Ну, если так, то он напишет целую повесть. Лопайтесь, дорогие коллеги, от зависти.

Дюваль начал от самых истоков :

« Мягкий осенний день лучился над Парижем, когда в мрачноватую приемную монастыря Sacré-Cœur вошел пожилой китаец, ведя за руку хрупкую быстроглазую девочку. Через несколько минут, из противоположной двери вошла туда и игуменья, высокая, строгая, живая копия святой Софи-Мадлэн, основавшей когда-то этот монастырь. Она ласково наклонилась к девочке.

— Как тебя зовут, дитя мое? »

Никто не рассказывал Дювалю этих подробностей, но он знал, что всё было именно так. Учебный год всегда начинается с осени, посланник — важная особа и встретила его не иначе, как сама настоятельница. И в том, что она была похожа на святую Софи-Мадлэн, можно было не сомневаться : все монахини похожи друг на друга, только и различия, что одни худые, другие толстые. Эта должна была быть худой, родовитая испанка, чуть ли не Гонзага. И конечно она должна была заговорить с ребенком. А что в таких случаях спрашивают : — « Как тебя зовут? Сколько тебе лет? » — Кто будет проверять? Ведь не битву же при Ватерлоо он описывает, хотя и про нее сколько наврано.

Увидеть Ли Шу-инь до суда Дювалю не удалось. В полиции показали только старую ее фотографию — интересно откуда ее достали? На фотографии Ли Шу-инь совсем молоденькая, танцует с высоким английским офицером. Офицер виден в профиль, она в три четверти поворота. На ней китайское платье с твердым до ушей воротником, у плеча огромная пушистая хризантема. Снято было в Лондоне.

Наклонив близорукие глаза к машинке, Дюваль выстукивал :

« Гибкая, изящная, шла она в вальсе со своим кавалером и кто знает, не думала ли она тогда :

— Да, здесь я для тебя — дочь дипломата и ты со мной

нежен и почтителен. Но если ты приедешь когданибудь к нам, посмеешь ли ты ухаживать за мной так открыто? Там, на моей земле, я буду для тебя только желтая... Нет, ты никогда не посмеешь...

« И не на этом ли великолепном балу, не в толпе ли английской знати зародилась у красавицы Ли Шу-инь мысль отомстить за все — за неравенство рас, за предрассудки, за презрение, которое, не стесняясь, выказывали к людям ее страны чванные иностранцы? »

Дальше фантазия Дюваля уступала фактам из « дела » преступницы.

« После Лондона Москва. Там Ли Шу-инь получает свое марксистское посвящение. Потом возвращение на родину, разрыв с семьей, конспиративные встречи с китайскими коммунистами. Есть сведения, что она встречалась с самим Чжоу Эн-лаем и от него лично получала инструкции. Ей поручают важную миссию — добывать средства на партийную работу. В течение нескольких лет имя Ли Шу-инь наводит ужас на всё побережье Китая. Ее шайка неуловима и с каждым грабежом в кассу партии поступают новые и новые сотни тысяч. Попутно ей поручается агитационная работа. Под ее личным наблюдением переводятся, печатаются и рассылаются по всей стране томы сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. И вот теперь эта последняя книга « Государство и Революция ».

Дюваль полностью списал « дело ». Год за годом — все подвиги Ли Шу-инь. Как ловко она всё это устраивала и как глупо попала. Надо же было ей самой соваться в Шанхай, поправлять гранки. Что у них других людей не было? Впрочем, картина эффектная — красавица пиратка, склоненная над трудом « великого учителя ».

— А вот представьте себе, что и не так, — расхохотался детектив. — Когда мы вошли, нас много было, человек восемь, — наборщики сразу же, как по команде, стали рассыпать кассы. Некоторых, конечно, сразу же скрутили, не всё им удалось рассыпать. Она же в то время сидела в углу тихонькая и на коленях у нее девочка, дочка наборщика. У них ведь знаете как, — заболит жена, или случится что дома, отец берет ребятишек и тащит с собой на работу — на завод, на стройку, в типографию. Девочке верно скучно было, томилась, спать хотела, мешала всем, и наша милая дама, пока ожидала гранок, приласкала ее. И вот посмотрите, какая пропагандная литература была при ней обнаружена.

Это была затрепанная, грошевая детская книжечка с яркими картинками. На первой странице корзинка с кроликом и около нее пара любопытных малышей, мальчик и девочка.

Сам как ребенок водил пальцем по иероглифам, Дюваль с трудом прочел :

— Сяо бэй ту, куай куай. Маленький кролик, милый, милый...

Детективу было скучно. Вечером редко кто заглядывает в дежурку, обрадовался случаю поболтать.

— Мы на нее и внимания не обратили сначала, а она ребенка по боку и в другие двери. Там тоже стояли наши. Она хватить револьвер из кармана, паф, паф. Одному сержанту плечо прострелила, другому — шапку. Но схватили все-таки. Только зуб ей в передраге выбили.

И эту сцену трогательно и драматически расписал Дюваль.

На суд он, однако, к глубокому своему сожалению опоздал, ездил встречать Мориса Декобра. Когда он вошел в зал, всё уже было кончено. Впрочем, как ему сказали коллеги китайцы, и слушать было нечего. Ли Шу-инь была опознана, а дальше дело было передано китайским военным властям. Всем было ясно, что это значило для подсудимой и старый судья, быть может знавший ее отца, чувствовал себя немного неловко. Обращался он с ней изысканно вежливо и когда приговор был вынесен, дрогнувшим голосом спросил — есть ли у нее какое нибудь последнее желание.

И тогда — Дюваль хорошо видел это со своей репортерской скамьи, — Ли Шу-инь, стоявшая со скованными за спиной руками, сделала движение как будто хотела разорвать кандалы и что-то сказала, ясно и звонко.

Дюваль, хоть и слабо знал китайский язык, все же разобрал :

— Я бы хотела, господин судья, чтобы вы оказались в моей власти только на полчаса!

Этой фразой Дюваль и закончил свое повествование. Он потом с восторгом повторял ее во всех клубах Шанхая.

Нашелся, впрочем, один маститый циник-репортер, говоривший, что все это было так, да не так. По его словам, Ли Шу-инь сердито отвернула лицо и буркнула по адресу господина судьи :

Цзу-лу! (Свинья).

Сергей, конечно, поверил бы Дювалю.

Ю. Крузенштерн-Петерек

Снегурочка

(Сказка)

В том году в Париже зима была особенно сурова, мороз доходил до пяти градусов и снег выпал такой обильный, что покрыл тротуары на несколько сантиметров.

На одной из парижских улиц, поднимающейся в гору, на самой ее высоте, стоял домик, занимаемый молодыми россиянами, перед домиком был дворик. Этот дворик тоже покрылся снегом, а когда снег сгребли к стенке, то вырос почти настоящий сугроб.

Немедленно родилась мысль вылепить Снегурочку и все, бывшие здесь, усердно принялись за работу. Очень скоро слепили ее фигурку в натуральную величину, красками отметили голубые глаза, розовые щечки и алые губки и надели на нее снежную шапочку. Снегурочка вышла прехорошенькой. Ее поставили посреди двора и все любовались ею.

Этот вечер был Сочельник, канун Рождества Христова, и в доме уже стояла громадная елка блестяще украшенная — на ней были и золотые шары, и серебряные нити и пестрые бусы, на самой вершине сверкала звезда и множество других украшений блестели от бесчисленных зажженных свечей. Нарядные дети шумно резвились вокруг нее.

Эту елочку Снегурочка хорошо видела через окно и радовалась, что видит.

Разгоряченные дети выскакивали из зала и показывали ей свои подарки.

Но когда свечи на елке догорели, праздник окончился и последняя группа детей выбежала на улицу и разбежалась по своим домам, Снегурочка осталась одна стоять среди темного двора. Ей стало очень грустно. Что же делать? Не оставаться же так на всю ночь? И она решила уйти. К счастью, выходная калитка осталась незатворенной.

Снегурочка вышла на улицу. Прохожих не было, мелькали только автомобили. Начал падать снег, что ее очень обрадовало. Снегурочка быстро шла по заснеженным улицам, скользила по тротуарам, а кругом были дома, дома и дома. Снегурочка не заметила как вышла из города и перед ней затемнели густые деревья, протягивающие к ней свои снежные лапы. — Это лес! — почувствовала она и еще быстрее зашагала к нему.

Но, как нарочно, навстречу ей два полицейских, делающих ночной обход. Они немедленно заметили Снегурочку, остановили ее, спросили: — мадемуазель, куда вы, на ночь глядя, идете? Снегурочка молчит. Тогда они сердито и на «ты»: — дай твои бумаги! Снегурочка молчит. Они опять — кто ты? Она пробормотала — я русская Снегурочка. — Ничего не понимаю, сказал старший ажан, а другой, подумав, воскликнул: — ты знаешь, я учил немного русский язык — русская — значит по нашему — русс. Она такая странная, она конечно русская. — Ну, ладно, сказал старший, уведем ее отсюда, а то она здесь непременно замерзнет. — Следуй за нами! — приказали они и, став с двух ее сторон, зашагали. Что было делать Снегурочке как не пойти с ними?

Шли они, шли и, наконец, пришли к дому, на котором была надпись — комиссариат. Открыли дверь в жарко натопленное помещение, где на полу стояла маленькая, раскаленная углевая печка. Снегурочка отшатнулась от двери, но ажан подбодрил ее — не бойся, иди, сядь на лавку, — но, так как она не двинулась, то он подтолкнул ее и поставил возле печки.

Ноги Снегурочки размякли и она не могла шевельнуться. — Вот, как озябла, бедная, — сказал ласково ажан, — мы тебе приготовим горячей воды с сахаром, ты выпьешь и согреешься. — И они вышли из комнаты.

Но когда, через несколько минут, они вернулись, то, на пороге, остолбенели. Из печки валил дым, почерневшие угли шипели, а приведенная неизвестная особа исчезла.

— Да, несомненно, она русская, ведь только русские способны на такие невероятные истории! — воскликнул старший ажан, — где это видано, чтобы люди исчезали из наглухо запертой комнаты? И откуда взялась на полу и на печке вода, будто ведро вылили? И как теперь занести все это в протокол? Ах, уж эта мне — ам слав!

И они вместе, в большом волнении, долго размышляли, но понять невероятное происшествие так и не могли.

А мы-то поняли, какая беда приключилась с нашей Снегурочкой.

Растаяла она на чужом огне и осталась только сказка о Снегурочке!

Об основах Инквизиции - Чеки

Вальтер Нигг, автор великолепной книги *О еретиках* (Walter Nigg : « Das Buch der Ketzer ») выдвинул очень плодотворную тему : « *Заблуждение как путь к истине* » (стр. 126 и сл.). Тема эта, конечно, не новая, она путеводной звездой блещит перед человечеством. Несколько в другом виде ее поставил Гёте в « Фаусте » : « Человек заблуждается покуда ищет » (Es irrt der Mensch solange' er strebt). Это значит, что часто ценой истины оказывается заблуждение, так же как ценой удачи — неудача. Сюда же относится и тема падения на путях достижения святости. Всё это многоединство аналогичных тем может быть сведено к знаменитой евангельской притче о *Пшенице и плевелах*. Сюда же относится тема о прощении женщины взятой в прелюбодеянии (Матф. 13, 24-30; Иоан. 8, 3-11). В Ветхом Завете этому соответствует гнев Божий на друзей Иова, которые как будто бы « заступаются » за Господа Бога, в то время как Иов — ропщет на Него. Тема эта, кстати сказать, никогда по-настоящему, на нужной глубине и с нужной степенью честности, не была разработана, ни экзегетами, ни богословами. И это в высшей степени зловеющий факт.

В сущности говоря, всю эту совокупность жгучих и очень опасных тем можно было бы синтезировать в таком вопросе: *стоило ли Богу творить мир ценой его радикального падения, ценой явления того, что Кант именует радикальным злом?* В применении к тематике и символике « Моцарта и Сальери » Пушкина это можно транспонировать так : *стоило ли допускать (или : попускать)* такого рода ужасающие злодеяния, как отравление Моцарта, двойное падение и уничтожение (духовное) Сальери, то-есть его гибель как художественно-артистической и моральной личности, только для того, чтобы в мире явилась такая высшая художественная ценность как *Реквием* того же Моцарта? Другими словами, в этой теме, со всею резкостью и в предельно трудном, может быть, неразрешимом смысле ставится проблема *Провидения*. Мы, кстати сказать, знаем, что у Сенеки (в « De providentia ») она не удалась, несмотря на свойственный этому мыслителю блеск, а в христианстве она оказалась безмерно отягченной еще более трудной темой о *свободе*. Что это так, видно из церковно-литургической формулы : « *грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения* », — не говоря уже о том, что *творение мира и его спасение* —

оба акта, представляющие, по существу, акт двуединый в их проблематике — отягчены не только проблемой свободы и *ничто*, но и *проблемой творческой личности*. Здесь для толкователей поистине «крест» (*crux interpretum*). Философ метафизик может себя утешать тем, что это — *Крест Господень*, и что пав со Христом на путях непосильной борьбы с этими философско-метафизическими трудностями, мы надеемся восстать с Ним из мертвых.

К тому же Господь говорит о многом таком, чего мы ныне не может вместить. Весьма возможно, что расшифровка этих мучительных проблем относится сюда же, хотя есть пессимисты, вроде поэта Батюшкова, полагающие, что и сама даже смерть не даст путей к разрешению этих вопросов, к которым нельзя не придти, а придя нельзя не пасть в мучительнейшей борьбе над их разрешением.

Совершенно исключительное положение христианства в ряду мировых религий состоит в том, что в нем проблема невозможной вообще теодицеи разрубается в качестве «гордичева узла» мечом креста, то есть свободным принятием Творцом мира его судьбы. Это между прочим значит, что если еретиков — действительных или мнимых — *пытают, бесчестят и мучат в инквизиционных застенках*, а потом *сжигают* или какнибудь иначе умерщвляют, то *Бог и Сын Божий тоже оказываются на положении еретиков и подвержены одинаковой с ними участи*.

Вступая в труднейшую область свободной всесозидающей и крестоносной Любви Божественной надо все время держать в своем сердце и в своем сознании, что *она не ведает исключений*, не ведает катерогии «*пасынков*» и что ей так же дорог Моцарт, как и Сальери, ортодокс так же как и гетеродокс, то есть еретик.

Только этим, быть может, объясняется самое загадочное место в финале «*легенды о Великом Инквизиторе*» Достоевского, именно финальный поцелуй Христа в бескровные уста жуткого старика инквизитора, — а значит и в уста того, кто за ним, и о котором «*Великий Инквизитор*» сделал свое самое страшное и вполне обязывающее признание: «*Мы не с Тобой, а с ним*» ...

Нам легко было бы принять заступничество Христа за сжигаемых «*Великим Инквизитором*» еретиков, как легко и, даже, умилительно принять заступнический поцелуй Христа в уста отравленному Моцарту... Еще бы! Ведь Моцарт — свой! Он праведное и незлобивое дитя Божие и вдобавок богоподобный творец, созидающий Реквием, то-есть заупокойную мессу, в которой прославляется крестная и евхаристическая Жер-

тва. Но нам очень трудно, собственно говоря, невозможно — принять такой же поцелуй в уста отравителя, который даже, как известно, не дал Моцарту и дописать его гениальное творение, что сделал любимый ученик Моцарта Зюссмейер; он и инструментовал великий шедевр гения-мученика. Нам поцелуй Христа в губы монструозного палача не только невозможно ни понять, ни поднять, но он предстоит пред нами как великий абсурд, невыносимый скандал и внутреннее противоречие в самом существе, в самом сердце любви Божественной.

Этого противоречия не вынес даже такой проникновенный знаток Достоевского, пожалуй, самый глубокий из его интерпретаторов, как Романо Гуардини. Он «принимает вызов» Достоевского и в своем роде «бесстрашно» утверждает, что «такого» Христа надо сжечь... Другими словами, в нем просыпается «истинный» латино-католик с чисто «спортивной» охотой за еретиками. Великий инквизитор и называет Христа «злейшим из еретиков», более других заслужившим костер. Такова схоластическая диалектика, согласно которой, по острому замечанию Н. А. Бердяева, Ангел Силезиус, в качестве богослова иезуита, должен сжечь самого себя — как поэта и метафизика.

Любопытно, что Сальери дает сам себе социальный заказ устранить Моцарта, ибо тот так сказать залетел слишком высоко и этим отменяет «нужды низкой жизни», то есть тот самый «печной горшок», который так дорог Белинскому и ему подобным до нынешних коммунистов, — отменяет в качестве херувима с херувимскими мелодиями «житейские попечения» и, конечно, за это должен поплатиться жизнью со стороны тех, которые хотя и любят «херувимские песнопения», но не до самозабвения, не до стремления улететь на небо и там остаться... Да и теперь, когда в Церкви раздается этот удивительный и в своем роде единственный гимн, все как правило (включая, конечно, и церковнослужителей), если только это не «земные ангелы и небесные человеки», что бывает редко, просто не принимают в свое сердце всю онтологическую силу херувимского гимна, в одно ухо его впускают, в другое выпускают, и всё остается «в порядке» — в скверном, пошлом, мизерном порядке, в духовном оскудении и со своего места не двигается, чтобы «возлететь во области заочны», говоря словами Пушкина... Великий поэт, хотя и бывал порой «меж детей ничтожных мира» самым ничтожным, но не отклонял «чуткого слуха» от «Божественных глаголов» и на деле показывал, что

Орлам хотя случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться.

И подлинное, настоящее желание настоящего гения — раз скрывшись за облаками больше никогда не спускаться... Вот этого « Великий инквизитор », иной раз умеющий читать в сердцах людей, и не может простить Моцарту и его символизирующему орлу... Ибо « Великий инквизитор », каковы бы ни были формально им исповедуемые миросозерцательные тезисы и догматы, — прежде всего и после всего *явление социального* и во имя социальных интересов объявляет войну Моцарту. Отсюда и его успех : охотников подгреть горячие угли к костру « еретиков » (в чем бы ни состояла их « ересь » — мнимая или подлинная) и тем « спастись », тоже понимая спасение « социально », — великое множество. Этим и объясняется тот общеизвестный и весьма соблазнительный факт, что жертва и палач с подозрительной легкостью меняются местами, и это уже по той причине, что духовное содержание обоих, как правило, удивительно скудно... Да и, кстати сказать, в терминологическом смысле древнее понятие *зависти* с сюда относящимся греко-славянским термином, при серьезном подходе к нему, означает *оскудение*. Социально революционизирующая массы « зависть » всегда не только приводит в конце революционного процесса к величайшему и всестороннему оскудению и к поголовной нищете, но еще и к культу скудости и бедности, притом, отнюдь не аскетически подвижническому, но к принципиальной скудости как таковой, *per se*, к голоду, к хождению в лохмотьях, к подозрительно-недоброжелательному отношению не только к приличному галстуку, чистой рубашке, но и к породистому скоту, к приличным чертам лица, к культурной речи, к комильфотному обхождению, к хорошим стихам, к отделанной культурной прозе, к философской и научной проблематике ради нее самой без каких бы то ни было задних мыслей о « практическом использовании »... Но хорошо известно, что наибольшее количество выгод приносят те научные и научно-философские течения, которым задние мысли о практическом использовании не закрыли горизонтов и глубоких точек зрения. Только максимум бескорыстного услаждения через углубление и расширение познания приводит к таким открытиям, которые оказываются практически полезными. И здесь евангельское правило : « ищите Царствия Божия и Правды Его прежде всего, а остальное приложится вам » оказывается особенно приложимым, именно, практически, с максимальными результатами. В конечном счете, бескорыстная, не ведающая зависти любовь, как самоцель, неожиданно открывает великие достижения для ее носителя и оказывается в пределе единственно *всемогущей*.

А между тем всюду и всех подозревающая в небывалых

преступлениях, соблазнах, заговорах, социально-политическая точка зрения, больше всего боящаяся бескорыстного познания и творческих достижений, приводит неизбежно к культу шпионажа, подглядывания, подсматривания, к дрожанию за свою шкуру, к подавлению сердечных запросов практическим расчетом и в конечном результате к такой форме зависти, которая гораздо хуже обычной житейской индивидуальной зависти, именно, к социально-революционной зависти, к «ощеживанию комара и поглощению верблюда», к ложной утонченности, к крючкотворству... Сложилась и упрочилась легенда о надутости важности, о не улыбающейся серьезности мыслителя и человека науки — в виде хорошо известного чеховского героя — «человека в футляре», понимающего только то, что «запрещено циркуляром исходящим от начальства», и во всяком случае не могущего примириться с тем, относительно чего нет ни прямого дозволения, ни прямого запрещения. По этой причине он не может помириться ни с жизнью, ни с творчеством, ни с каким либо изменением и движением. Он — олицетворенный антиревизионизм, олицетворенная энтропия и его царство есть царство окоченелых, застывших, неподвижных призраков. Он не допускает ни жизни, ни молодости. Таков, между прочим, и губернатор Лембке в «Бесах» Достоевского, который как-то весьма легко уживается с «Бесами», а они с ним. Их борьба — тоже призрачная борьба, ибо и вся революция есть царство призраков и дело несерьезное и шутовское, сколько бы при этом ни было страданий и разрушений... «Я не признаю молодежи» — вырывается у него характерное признание. Но ведь и молодежь из «Бесов» — фиктивная, поддельная молодежь, — настоящая подлинная жизнь, которая есть всегда нарастающая энергия, умножающееся богатство, переступание «порогов» и «циркуляров», выход за пределы всего того, что «общепринято» и «дозволено», ей глубоко ненавистна...

Другой, тоже упроченный легендой образ педанта-педагога, — это человек *трюизмов*, допускающий разговоры только о том, что всем давно известно, и открытие давным давно открытых «Америк». «Человек улицы» очень почитает скучных и бездарных людей, которыми подтверждается установленная им легенда о представителях ума и знания, о творчестве же он не имеет ни малейшего представления, или же, в крайнем случае, оно смутно ассоциируется в его черепной коробке с чем-то скандальным и недопустимым, «изменяющимся» и движущимся, чему быть отнюдь не должно. В еще большей степени эта «энтропическая легенда» утвердилась у «человека улицы», у «оно» («das man» Гейдеггера) — в отноше-

нии всего, что связано с религией и верой. Здесь, по мнению «человека улицы», особенно и с полным отсутствием всякой жалости должны быть устранены, убиты, втопты в землю всякие признаки жизни, творчества, изменения, красоты, ума, любви, и, прежде всего, какие бы то ни было признаки трех основных ценностей, которыми отрадна и оправдана жизнь : *личности, творчества и свободы.*

Для «человека улицы» Бог есть что-то вроде митрополита Филарета, или игуменов Фотия и Нифонта (все трое — гонители преп. Серафима) — сердитый, злой, тупой, обязательно завистливый и обязательно консервативный седой старичишка. Ангелы же вокруг него, то-есть силы небесные — «корпус небесных жандармов». Так думают, за исключением немногих единиц, все люди улицы, как носящие официальный мундир революции и безбожия, так и напялившие на себя обязательный мундир реакции, или, во всяком случае, держащие его про запас в нафталине, храня от моли «до лучших времен» ...Человеку улицы невдомек, что созданные им легенды о революции и реакции одинаково реакционны, безжизненны, бездарны, тупы и скучны, что им воображаемый Бог решительно ничем от дьявола не отличается, равно как борода Карла Маркса и придуманного Бога Саваофа — решительно одно и то же.

Так или иначе, но эта энтропическая легенда о порядке и благополучии, или лучше, о благополучии, как о нетворческом неподвижном порядке, то-есть о царстве сонной одури, скуки, смерти и околечения, как раз и легла в основание той психологии, которая сделала возможной и н к в и з и ц и ю как универсальное явление социального аперсоналистического порядка, т. е. зла.

И здесь-то в основе, в принципе, «в начале» противоположном евангельскому началу, лежит зависть Сальери убивающего Моцарта... Убивающего-отравляющего, ибо отравление здесь наиболее подходящий символ «начинающегося» в порядке лично индивидуальном мирового зла, а потом уже наступает социально-тоталитарное обобщение этого зла в виде Инквизиции, которую надо положительно считать наиболее адекватным символом радикального, первородного зла.

Я отнюдь не собираюсь вносить дурную упрощенность, какие либо «психологизмы» и «социологизмы» в такой бесконечно трудный для мыслителя, для философа-метафизика и для богослова вопрос, как «начало падения» и первопричина превращения, предложения «Ангела света» Люцифера, «носителя света» — в князя тьмы, князя века сего.

Я хочу только сказать, что наиболее адекватным, наиболее соответствующим, « корреспондирующим » символом мирового радикального зла безусловно надо по сей день считать такой феномен, как Инквизиция, — со всеми ее разветвлениями, преломлениями и вариантами вплоть до террора т. наз. « великой » французской революции начавшейся в 1789 г. и революции русской, начавшейся с 60-х годов прошлого столетия и дошедшей до нашего времени.

В мировой литературе ближе всего к этой теме подошли произведения таких русских писателей как Пушкин в « Моцарте и Сальери » и Гоголь в « Портрете » и в « Страшной Мести »... Это несомненно связано с знаменитыми и страшными словами протопопы Аввакума : « Выпросил себе диавол у Бога светлую Россию да искровянит ю »...

Сюда же относится ряд легенд, синтезированных в « Фаусте » Гёте и в « Элоа » Случевского, что в свою очередь коренится в тайнах книги Иова... Всё это — символы, но символы вполне адекватно онтологические, подчас становящиеся вещно реальными, так сказать « осязательными »... К числу художественных откровений на эту тему надо отнести также « Макбета » Шекспира, « Каина » Байрона, « Дон Жуана » Алексея Толстого и ряд вариаций художника Кирилла Врубеля на эту же тему падения сатаны...

Как видим, мировое искусство всегда очень искушала мысль изобразить « как это всё началось », говоря языком « Элоа » К. К. Случевского... Сюда же относится и начало первой части девятой симфонии Бетховена и начало « Золота Рейна » Вагнера... Нечеловеческая трудность здесь в том, что как начало, так и середина и вообще продолжение выглядят совершенно одинаково, словно начала никогда и не было — как будто в подтверждение издевательских слов Шопенгауэра : « глупцы же думают, что в начале должно было что-то случиться и произойти »...

Как у Бетховена, так и у Вагнера начало трагедии совпадает с началом вообще — словно нет и быть не может у твари ни осознания свободы, ни « я », ни памяти о начале, ибо память о начале « отшибло » вместе с началом памяти о падении, — и не только у человека, но и у самого « изобретателя зла » и падения — мы застаем как князя тьмы, так и с ним мучающихся и им мучимых уже в бесплодных терзаниях беспамятства всё на ту же тему — « как это могло произойти » и « почему это произошло »... И не « произошло » и не « почему ». С особенной силой это изображено у Гоголя в « Вечере накануне Ивана Купала ». Когда Петрусь всё же наконец вспомнил в ас-

социационном порядке увидев харю мерзостной старухи-ведьмы из «Медвежьего оврага», то эта память оказалась хуже и мучительнее всякого беспамятства и именно в этот момент «нечистый-то и припрятал Петруся»... Равным образом и в «Моцарте и Сальери» мы застаем Сальери в разгаре его бесплодных терзаний над тем, как он, благородный и справедливый, по существу, никогда не знавший зависти и всегда покорно следовавший за теми, кого он считал выше себя и светочами «в искусстве дивном», мог вдруг превратиться в презренного завистника, в котором вдруг оскудел его творческий дар или появилось сознание скудости-оскудения этого дара?

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
 Когда нибудь завистником презренным,
 Змеей, людьми растоптанною, вживе
 Песок и пыль грызущею бессильно?

Аналогично этому Вальтер Нигг в главе об Инквизиции своей книги посвященной ересям (стр. 226-246), которую он красноречиво и жутко озаглавил: «Тяжелая вина христианского мира» (Die schwere Schuld der Christenheit), бьется над тягостным вопросом — как это могло случиться» и, вообще, «как и когда это могло начаться»? И прежде всего совершенно справедливо отклоняет всякие покушения минимализировать или облегчить эту вину или снять ее с плеч христианства. Нет, надо быть честным, вина эта — чудовищная и до сих пор не искупленная вина!

То же самое следует сказать и о революционной инквизиции, с ее тоже неосознанной и никак не искупленной, но, наоборот, — все время умножаемой виной, в отношении которой человечество, и особенно человечество западное, держится с гнусным упорством некоторого «табу», некоторой чудовищной индульгенции: все преступления заранее прощаются если только они произведены во имя молоха революции.

И мы ставим себе вопрос: подобно тому как Сальери подписал смертный приговор своему потенциальному гению, легализировав свое отравление Моцарта, не подписало ли человечество себе смертного приговора легализировав революционный грех? Не значит ли это, что человечество создало себе из революции и ныне из марксистской идеологии некую чудовищную по пустоте, ничтожеству и скучнейшей бездарности псевдо-ортодоксию, для защиты которой все средства хороши?

Вот наконец мы подошли к такой важнейшей теме как борьба ортодоксии с гетеродоксией, а также, пожалуй, к самой важной теме о том, что самое чистое и безупречное по своей

истинности учение превращается в злейшую ересь и ложь, если только оно начинает себя обосновывать и защищать такими средствами как Инквизиция и Чека.

Это особенно становится ясным из такого дела как процесс и казнь — сожжение несомненного «еретика», каким был Джордано Бруно (1548-1600).

Конечно, были вещи похуже, или, во всяком случае, не лучше, — напр. крестовые походы против катаров, Варфоломеевская ночь, сожжение Сервета Кальвином и проч. Но в деле Бруно все сплелось в один очень показательный и символический гордиев узел, не говоря уже о том, что так же как в процессе Сократа здесь с особенной выпуклостью выступает провоцирующий и раздражающий толпу характер одаренности вообще.

Поэтому Джордано Бруно следует назвать общим типом гениальной натуры и притом натуры энциклопедической, все-сторонне одаренной: помимо научно-философского гения он обладал громадным артистическим темпераментом, что соединялось у него с художественно-писательским и поэтически-ораторским огнем. К этому еще надо прибавить дар юмора, насмешки и иронии. Понятно, почему тот восторг и шум, которые он возбуждал одним фактом своего появления в обществе и на кафедре, и чрезвычайная опасность для его врагов, какую представлял его остро режущий как бритва язык, создавали ему, наряду с восторженными поклонниками, еще большую когорту лютых врагов и недоброжелателей. Принято считать, что он не только не интересовался богословием, но на подобие Фауста начисто его отбрасывал, считая его устарелой и пустой псевдо-наукой. Это не совсем так. Уже тот факт, что он чрезвычайно интересовался новоплатонизмом, пифагореизмом, каббалой и вообще оккультными науками, показывает, что его духовный уклад и вся совокупность духовных интересов были богатой и плодотворной почвой для засева если не богословием в прямом школьном смысле, то для такого синтеза мистики и оккультизма, какой мы наблюдаем напр. у Пико делла Мирандола, Агриппы из Неттсгейма, Парацельса, Себастиана Франка, Якоба Беме и др. Результаты для конечного богословско-метафизического синтеза могли бы получиться очень значительные и творческие... Однако, почти с абсолютной достоверностью можно было бы предугадать их гетеродоксийный дух для какой угодно ортодоксальной системы, с весьма опасным для Бруно финальным исходом... Ему был абсолютно невыносим затхлый школьно-монашеский дух доминиканского ордена, куда он в ранней юности поступил не то доброволь-

но, не то его, что называется, «заперли», как это в начале средневековья случилось с монахом Готеспальком (графом Керном), родоначальником (или одним из родоначальников) теории предопределения. Человека с такой богатейшей и огненно-темпераментной натурой, как Дж. Бруно, невозможно даже представить себе не только монахом, но и вообще принадлежащим к какой либо «вероисповедной партии». Естественно, что как его характером, так и даже его внешностью были предопределены и его положение вечно кочующего беглого монаха, разъездного лектора, и его конец на костре после долговременного пребывания в когтях инквизиции, которой прежде всего был глубоко ненавистен сам его духовный и физический тип. Холодная ненавистническая змея инквизиции и монашества, католического тридентийского и неотомистского богословия могли у такого человека вызывать лишь рвотно-репульсивные эмоции, как и всякое благонамеренно послушливое плюнь-кисляйство. Несправедливо было бы обвинять только одну католическую Церковь в гибели Джордано Бруно. Он бы погиб в каком угодно окружении людей улицы независимо от национальности и эпохи, а также от специальности и официального положения, которое никогда не могло бы быть у него хорошим: его всегда и при каком угодно режиме погубила бы какая-нибудь «персона» или «коллектив персон», то-есть та или иная форма инквизиции, без которой не обходится никакой наискромнейший коллектив, никакое собрание людей улицы. Ибо, в самом деле, не только там, где коллектив, там и инквизиция, палач и костер, но скорее всего *всякий коллектив людей улицы и или руководящих «персон» начинается с инквизиции, костра и палача*, какую бы форму ни представляли эти милые вещи, назначение которых следить за тем, чтобы жизнь ничего не творила, но тлела на подобие сырой соломы или сырого навоза потихоньку да полегоньку, да не торопясь, да Богу помолясь с деревянненьким маслицем и кислосладкой ханжеской рожей и благочестивым помаванием главой. Ведь подобного рода официальное благочестие есть основа социального порядка где угодно — от какого-нибудь церковно-приходского совета и семинарии до марксо-коммунистической ячейки... Чрезвычайный, непоправимый вред от социального и социально-психологистического подхода к изучению психопневматических явлений и вообще всяких явлений с убедительнейшей силой и ясностью показал Н. А. Бердяев в своей нашумевшей и по заслугам известной книге «Я и мир объектов». Ее большая заслуга в том, что ее автор раскрыл и изобличил пагубные для философской и научной мысли «социологизмы», и след. социальные психологизмы — там, где на их наличность

до него почти никто не обращал внимания, напр. в области церковной и околоцерковной. В свое время это с обычной своей остротой и литературным блеском передал В. В. Розанов в сочинении « Около церковных стен », но это скорее великолепная литературно-художественная и артистическая сокровищница, чем научное исследование. Все же Н. А. Бердяев не коснулся в своей книге таких ужасающих язв, возникших на почве социологических и социографических данных, как *Инквизиция и Чека*.

Вальтер Нигг, потрясенный злокачественностью Инквизиции, требует покаянного искупления социально-церковными организациями этой чудовищной горы преступлений, прежде чем приступить к ее объективному изучению. При этом, вне его поля зрения оказалась та истина, что *Инквизиция и Чека суть явления общечеловеческие и общеамартологические...* Также вне его поля зрения оказалась та жуткая истина, что *не Инквизиция следует за ересью, но ересь за Инквизицией, равно как и не зависть следует за оскудением, но оскудение следует за завистью.*

И наконец, со всем этим органически связана та несомненная истина, что *не ересь есть результат отклонения с прямых путей ортодоксии каких-то злокозненных еретиков, но сама ортодоксия обязана своим существованием храбрости и мужеству творческой мысли, шествующей безбоязненно там, где вообще нет никаких путей, и творящей из ничего там, где как будто бы чему-то быть вовсе и не полагается.* Чтобы была т. наз. ортодоксия, во всяком случае должен быть более или менее обильный материал для отбора, где иногда « лучшее оказывается врагом хорошего », да и то далеко не всегда. Легко показать, что перед лицом инквизиторствующей ортодоксии (любой, в чем бы она ни состояла), как и перед лицом завидующего и завистливого оскудения, ретроградного хода к энтропическому небытию и пред лицом сциентической мысли главными еретиками оказываются *Господь Бог, Творец мира из ничего, и Сын Его единородный и единосущный Ему, воплощенный Логос, Сотворец и Спаситель мира, « Имже вся быша ».* И к этому надо присоединить именование главной « ереси » Бога, Творца и Спасителя мира, — что Его святая воля в том, чтобы никому не погибнуть, но « всем спастись и в разум истины прийти ». Только этим и можно объяснить ужасающе прекрасный, всепобедный и поистине божественный поцелуй, которым так великолепно и убедительно заканчивается « Легенда о Великом Инквизиторе », которая отнюдь не легенда и не мечта, но самая настоящая, Самим Богом — *Великим Еретиком* воздвигнутая Его действительность против разгоряченной челове-

коубийственной и богоубийственной мечты, злого марева, жуткого миража, которым страдает погруженный в хаос и безумие « Великий Инквизитор ». Но ведь из хаоса и безумия воззван мир к своему прекрасному бытию. Великий Еретик лобызает великого инквизитора — и этим убивает его в качестве инквизитора.

Владимир Ильин



« Возмездие » А. Блока

Среди поэтических произведений А. А. Блока поэма « Возмездие » занимает особое место, как своим пророческим элементом, так и картинами русской жизни и русского общества.

В многочисленных работах посвященных поэту мало отводится места его « наследственности », которая объясняет многое и в его характере и главное в его « двойственности ».

А. А. родился 16 ноября 1880 года в Петербурге, в доме своего деда по матери, академика Андрея Николаевича Бекедова, на набережной Невы, которая будет играть большую роль в его произведениях и в частности в « Возмездии ». Отец его Александр Львович был немецкого происхождения, мать чисто русская.

Прапрадед А. Блока, Иоганн Блок, известный врач, приехал из Меклембурга в Россию в год основания Московского Университета (1755), участвовал в Семилетней войне и стал лейб-медиком при Екатерине II. Павел Первый пожаловал его в дворяне. Сын его, Александр Иванович, служил при дворе в царствование Николая I и получил земли в Гдовском уезде Петербургской губернии. Внук, — Лев Александрович, кончил Юридический Факультет, служил в Сенате, имел звание камергера и был предводителем дворянства Гдовского уезда. Он отличался большими странностями, под конец жизни сошел с ума и последние годы провел в клинике для умалишенных. Бабушка поэта, из семьи Черкасовых, была необыкновенная красавица.

Отец А. Блока был человеком жестоким, неуравновешенным, всегда сумрачным, до болезненности скупым. У него был странный « демонический » взгляд, которым в свое время заинтересовался Достоевский. Он стал главным героем « Возмездия ». В моральном отношении он отличался тоже полной неуравновешенностью и двойственностью : нерасчетливый, но одновременно скупой, утонченный в манерах и одновременно грубый, любящий свою жену и одновременно поступающий с ней бесчеловечно, нежный в семейных отношениях но совершенно не заботящийся о благосостоянии своих. В сентябре 1880 года, когда должен был родиться поэт, он прогнал свою жену, которая принуждена была искать убежища у своих родителей.

В конце концов он развелся с ней и вторично женился на

Марии Тимофеевне Беляевой, которая должна была также его покинуть со своей дочкой Ангелиной.

Александр Львович переселился в Варшаву и был избран деканом Юридического Факультета. Жил он одиноко, никого не хотел видеть и 20 лет писал « Историю классификации наук ». Прекрасный пианист, он играл для себя, читал Шекспира, поклонником которого был и, как говорил его сын, был настоящим « демоном ». По словам известного психиатра Павла Ивановича Ковалевского, который его знал и был в то время Ректором Варшавского Университета, А. Л. был человеком ненормальным, находившимся постоянно в состоянии « духовной темноты ».

Со стороны матери наследственность была иной. Дед поэта был известным ботаником, его брат химиком. Оба были крупными учеными. Мать Блока, Александра Андреевна Бекетова, была мечтательной натурой, любительницей литературы и поэзии, была очень начитанная, но нервная, страдавшая всю жизнь болезнью сердца. Натура прямая, защищавшая повсюду правду, но раздвоенная и подозрительная. Верующая, но по временам скептик, гордая и в то же время скромная, любящая и ненавидящая. Неуравновешенная до последней степени. Настроенная то мистически, то, наоборот, не думавшая больше о потустороннем. Как у ее мужа была постоянная « темнота » духа, так у ней, по её словам, было постоянное « томление духа ». « Во мне пять личностей », говорила она. Последние годы она была полна предчувствия великих катастроф, ожидания кончины мира и пришествия Антихриста. Она постоянно твердила слова молитв, но считала, что грех необходим для большего покаяния и искупления. Многие свои черты она передала сыну. Перед войной у ней были припадки напоминавшие эпилепсию и она ездила лечиться в Бад Наухейм. Александра Андреевна пережила своего сына, смерть которого для нее была страшной катастрофой. Умерла она в Петербурге в 1923 году.

Можно удивляться, что при такой тяжелой наследственности у поэта не было той полной неуравновешенности, которой страдали его родители, но двойственность в характере и колебания между злом и добром он наследовал несомненно от родителей.

В жизни Блока было три периода, как это очень ярко показала в своей диссертации София Григорьевна Бонно-Лаффитт. Она назвала их « путем к свету » — дружба и женитьба на Любви Дмитриевне Менделеевой, « путем к буре » — увлечение артисткой Натальей Николаевной Волоховой и « путем к распутству и цыганщине » — сближение с Любовью Алек-

сандровной Дальмас; но, как правильно отмечает проф. Бонно-Лаффитт, Любовь Дмитриевна осталась для него до конца жизни неким светлым воспоминанием, хотя он ее бросил и далеко отошел от того идеала, которым была наполнена его жизнь в 1902-1906 годы.

« Возмездие » автобиографично, вернее, это семейно-поэтическая хроника, так как вся первая глава посвящена родителям поэта и семье Бекетовых. Вот, как Блок характеризует своего отца в ту эпоху, когда он, по окончании университета, был « передовым человеком » и посещал революционные кружки :

Кого-то ждут... Гремит звонок.
Неспешно отворяя двери,
Гость новый входит на порог :
В своих движениях уверен
И статен. Мужественный вид,
Одет совсем, как иностранец,
Изысканно, в руке блестит
Высокого цилиндра глянец :
Едва приметно затемнен
Взгляд карих глаз сурово-кроткий,
Наполеновской бородкой
Рот беспокойный окаймлен,
Большеголовый, темновласый —
Красавец вместе и урод :
Тревожный передернут рот
Меланхолической гримасой.
И сонм собравшихся затих...
Два слова, два рукопожатья...

После появления Александра Львовича Блока в кружке передовых людей в 1878 году, в « Возмездии » описывается его приход немногим спустя в салон Ольги Вревской :

На вечерах у Ольги Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет
Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для « Дневника » (он в это время
С Победоносцевым дружил).
С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи,

Какой-то экс-министр смиренно
Здесь исповедывал грехи
И Ректор Университета
Бывал ботаник здесь Бекетов,
И многие профессора
И слуги кисти и пера...

Средь пожилых людей и чинных,
Среди зеленых и невинных—
В салоне Вревской был, как свой
Один ученый молодой.
Непринужденный гость, привычный —
Он был со многими на « ты »
Его отмечены черты
Печатью не совсем обычной.
Раз (он гостиной проходил)
Его заметил Достоевский.
« Кто сей красец » он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской,
« Похож на Байрона ». Слово
Крылатое все подхватили
И все на новое лицо
Свое вниманье обратили...
И дамы были в восхищеньи :
« Он Байрон, значит Демон ». Что-ж,
Он впрямь был с гордым лордом схож
Лица надменным выраженьем.

Далее А. Блок говорит, как его отец покори́л сердце младшей Бекетовой, как он сделал ей предложение, как произошла свадьба и как « мой Байрон » стал профессором гражданского права. Заканчивается глава строками о приезде матери поэта в свою семью. Разница только в том, что в действительности, когда отец Блока прогнал его мать и она нашла убежище у Бекетовых, поэт еще не родился и рождение его произошло уже в доме деда, а по поэме он был принесен туда грудным младенцем.

Третий портрет отца, уже умершего, дан А. Блоком, когда он поехал его хоронить в Варшаву :

Уже больница заперта,
Он за звонок берется смело
И входит ... лестница скрипит.
Усталый, грязный от дороги
Он по ступенькам вверх бежит

Без жалости и без тревоги...
Свеча мелькает... господин
Загородил ему дорогу
И, всматриваясь, молвит строго :
« Вы сын профессора? — « Да, сын ».
Тогда уже с любезной миной :
« Прошу вас. В пять он умер. Там ».
Отец в гробу был сух и прям.
Нос был прямой, а стал орлиный...

Блок описывает далее похороны отца. После них он идет в дом где тот жил :

И жаль отца, безмерно жаль,
Он тоже получил от детства
Флобера странное наследство —
« Эдюкасьон сентиманталь ».
От панихид и от обедней
Избавлен сын. Но в отчий дом
Идет он. Мы туда пойдем
За ним и бросим взгляд последний
На жизнь отца (чтобы уста
Поэтов не хвалили мира).
Сын входит. Пасмурна, пуста
Сырая темная квартира...
Привыкли чужаком считать
Отца. На то имели право :
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава.
Он был профессор и декан,
Имел ученые заслуги,
Ходил в дешевый ресторан
Поесть и не держал прислуги.
По улице бежал бочком
Поспешно, точно пес голодный,
В шубенке никуда не годной
С потрепанным воротником.
И видели его сидевшим
На груди почерневших шпал.
Здесь он нередко отдыхал
Вперяясь взглядом опустевшим
В прошедшее... Он « свел на нет »
Всё, что мы в жизни ценим строго :
Не освежалась много лет
Его убогая берлога.

На мебели, на грудах книг
Пыль стлалась серыми слоями.
Здесь в шубе он сидеть привык
И печку не топил годами.
Он всё берег и в кучу нес
Бумажки, лоскутки материй,
Листочки, корки хлеба, перья,
Коробки из под папирос,
Белья нестиранного груды,
Портреты, письма дам, родных...
И наконец убогий свет
Варшавский падал на киоты
И на повестки и отчеты
« Духовно-нравственных бесед ».
Так с жизнью счет сводя печальный,
Презревши молодости пыл,
Сей Фауст прежде радикальный
Правел, слабел и всё забыл.
Лишь музыка одна будила
Отяжелевшую мечту :
Брюзжащие смолкали речи,
Хлам превращался в красоту,
Прямились сторбленные плечи,
С неожиданной силой пел рояль,
Будя неслыханные звуки,
Проклятия страстей и скуки,
Стыд, горе, светлую печаль.

« Возмездие » писалось отрывками в течение десяти лет (1911-21) и кроме автобиографической части в нем заключены пророческие строки о Петербурге и одно из лучших описаний русской провинциальной усадьбы и русской весны.

Во второй главе, написанной в 1911 году, находятся строки о страшном явлении Петра и о событиях, которые грозят России. Они написаны, когда ничто не угрожало стране и особенно столице :

Но перед майскими ночами
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон.
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?...

Напрасно Ангел окрыленный
Над крепостью возносит крест...
Беги от этих зыбких мест,
От площади замороженной
И опрозраченной зарей.
Здесь незнакомая столица,
Здесь может странный сон присниться,
Пред ним померкнет разум твой.
В те годы мертвые, глухие
Еще казалось кое-как,
Что Петербург глава России...
Но уж судьба давала знак.
Ты помнишь, выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтесанный гранит
Склонясь главой отяжелелой,
Ты слышать мог, вдали, вдали,
Как будто с моря звук тревожный
Для Божьей твари невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпигеле крепостном. И вот
(Сон или явь) чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
И сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате,
Как в страшном сне, но на яву :
Мундир зеленый, рост саженный,
Ужасен выкаченный взгляд,
Одной зарей окровавленны
И царь, и город, и фрегат....
Царь, ты опять встаешь из гроба,
Рубить нам новое окно?
И страшно : белой ночью оба —
Мертвец и город — заодно...
Какие-ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?

Дальнейшие отрывки второй главы написаны в 1921 году и в них находится замечательное описание русской провинциальной тишины, о которой Некрасов сказал : « а там, во глубине России, там вековая тишина ». Этим отрывком мы и закончим наш очерк о « Возмездии ».

В то время земли пустовали
Дворянские и маклаки
Их за бесценок продавали,
(Но начисто свели лески).
И старики не прозревая
Грядущих бедствий и (грозы)
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.
Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.
Он был амбаром с острой крышей
От ветров северных укрыт,
Здесь можно было ясно слышать,
Как тишина цветет и спит.
Навстречу тройке запыленной
Старуха вышла на крыльцо,
От солнца заслонив лицо
(Раздался листьев шелест сонный),
Бастыльник покачнув крылом
Коляска подкатила к дому,
И сразу стало всё знакомо,
Как будто длилось много лет —
И серый дом и в мезонине
Венецианское окно.
Цвет стекол — красный, желтый синий,
Как будто так и быть должно.
Ключом старинным дом открыли,
(Ребенка внес туда старик)
И тишины не возмутили
Собачий лай и детский крик.
Они умолкли, — слышно стало
Жужжанье мухи на окне
И муха биться перестала
И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.
Да звук, какой-то заглушенный,
Звук той же самой тишины,
Иль звон церковный отдаленный,
Иль гул неконченной весны.
И потянулись вслед за звуком,

Который новый мир принес,
Отец и мать и дочка с внуком,
И ласковый дворовый пес...
И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень.
Туда, где вьется пестрым лугом
Дороги узкой колея,
Где обвилась деревьев (кругом)
Усадьба чья-то иль ничья.
Где по холмам и по ложбинам,
Меж полосами светлой ржи,
Бегут, сбегаются к овинам
Темнозеленые межи.
Стада пасутся, серебруются
Далекой речки рукава,
Телеги грузные катятся
В пыли, и видная едва
Белеет церковь над рекою,
За ней опять — леса, поля...
И всей весенней красотой
Сияет русская земля.

П. Ковалевский



О БЫВШЕМ^{*}

1901

Запишу историю начинания с нашего, как оно родилось и шло до нынешнего часа.

А нынешний час : полночь, суббота, двадцать восьмое Октября тысяча девятьсот первого года.

Последовательно, если возможность будет, стану записывать до конца, или *Дела*, или [события в] моей жизни.

1899

В Октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о *Евангелии*, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал : « Нет, нужна новая *Церковь* ».

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее : *Церковь* нужна, как лик религии евангельской , христианской, религии Плоти и Крови.

Существующая Церковь не может, от строения своего, удовлетворить ни нас, ни людей нам близких по времени.

После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить с другими.

Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу : поговори. Потому что мы собирались уехать на целый год.

Он написал два письма : одно Дмитрию Владимировичу Философову, а другое Василию Васильевичу Розанову, без определенных объяснений, а лишь с намеками.

И было у нас два разговора : один с Дмитрием Владимировичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов всё потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа.

Философов ничего не имел, искал, и хотел бы принять Христа.

На том уехали мы из России, не возвращаясь год, и ни с

*) См. статью д-ра Темиры Пахмусс в « Возрождении » № 217.

кем больше во весь год не говоря, потому что нам еще смутна была наша мысль, страшна и очень дорога.

1900

Четырнадцатого Сентября девятисотого года приехали мы, я и Дмитрий Сергеевич, в Петербург, где нашли дела людей ищущих веры и недовольных в прежнем положении, а сочувствие единомышленников ослабленным и охолодившимся.

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел *опасное* в тайне, о которой мы просили, и тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами.

А Философов отдалился от этой мысли, потому что отвык от нее без нас.

Одному же, утопая, нельзя выбраться на берег.

Мы двое, я и Дмитрий Сергеевич, хотя и двое, но во многом как бы один человек; и поскольку нас было двое — мы были сильны, а поскольку стали один — слабы.

И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами — разделил нас.

Потому я сказала : сговоримся с кем-нибудь одним вперед.

Дмитрий Сергеевич думал сам, как я, и, придя ко мне однажды, сказал, что уже имел разговор с Философым, который из всех стоял ближе к нам и нашим мыслям.

Но были мы нетерпеливы, и самонадеянны, и лишь немного выяснившуюся нам мысль сочли ясной совершенно.

И тайна была уже нарушена, а потому решили мы сказать многим, которых считали одних с нами исканий, чтобы вместе притти к последнему уяснению мысли и ее осуществлению.

Было нас людей, о том сообща говоривших в самом начале, семеро : мы двое, Философов, Розанов, Перцов, Бенуа и Гиппиус [Владимир].

Но вскоре пришли, через тех, еще Нувель, да Баксту было сказано, да раз Дягилев пришел, когда уже все всем по-своему стали говорить и рассказывать.

А Розанов не всегда ходил. И многие уже с трудом приходили, и никто не понимал друг друга, и приходили не для одного общего дела, а ради различных побуждений.

И так случилось, что мы двое как бы с одной стороны стояли, а те все — против нас, и никто уже о деле не помнил.

Сошлись мы однажды у Перцова, в этот раз были : мы двое, Перцов, Розанов, Дягилев, Философов, и Гиппиус.

Говорили о символах, о Евангелии, и было нехорошо, потому что никто никого не понимал и все боялись. Дмитрий

Сергеевич говорил искренно, но не надо было тогда так говорить, и всем было нехорошо.

После того долго не собирались. А потом мало по малу стали собираться у нас опять, но уже боялись говорить о действиях, и даже Евангелия вместе не хотели читать, а так, разговаривали и отвлеченно спорили, и было нехорошо и неприятно, потому что спорили о подробностях, скрывая от себя, что мы в Главном не согласились, в том, о чем спорить нельзя.

Сходились тогда : мы двое, Бенуа, Нувель, Философов, Гиппиус и Перцов.

Розанов больше не приходил. Да в нем и словесно даже была другая вера.

И Философов чаще не приходил. А между тем с ним одним мы в Главном были согласны, и даже не в одном главном.

Но было так : внутренне различные были внешне связаны : Философов, Нувель, Бенуа; а внутренне связанные : мы двое и Философов — были внешне разделены.

Внешняя связь жизни тяжело переступила для недавно проснувшейся души. Благо, когда нет сразу этого разлада. У нас не было, а Философову сразу это было дано. Я поняла, какие тут силы нужны даже не для полной победы.

Так и шло. А когда на споры приходил Философов, было еще хуже. У него — этот разрез, разлад, и у них — какая-то странная борьба, закрытая, с нами за него. Но о Деле никто как бы не помнил.

Сознания того, что происходит, ни у кого не было. Но боль была у всех. Главное, — нерешенное, — лежало между нами.

Перцов думал о себе.

Гиппиус — не знаю, только не о Деле.

Бенуа — о своих эстетических болях, о семье и о Философове.

Нувель — не о себе, но о своей влюбленности в Философова. (Но я тогда не знала).

Розанов — о семье, о поле, и Божескую боль хотел утолить кумиром.

И все были правы, искали Бога, были жалки, и не могли найти.

И в нас двоих — лежала слабость, только о Деле мы больше помнили. Пусть хоть потому, что Оно было наше прежде всего. Наш путь был легче.

« Нерешенной » загадкой пола все были отравлены. И многие хотели Бога для оправдания пола.

И Философов хотел и для оправдания. Но сам не знал, что не только для этого.

Дмитрий Сергеевич не для оправдания, но тоже был отравлен этой входящей, — не главной — мыслью.

Я не знала, но чувствовала ее не главность; но знала, что они теперь не поймут.

Христос — решенная загадка пола. Через влюбленность в Него — свята и ясна влюбленность в человека, в мир, в людей.

Свою душу надо слушать.

Так шло — и мне стало нехорошо, точно мы умираем.

Сил мало, — надо собрать их в одно.

Философов — первый, кто подошел к нам; единственный — который близок. Один — кто может помочь. И хотя страшно было подумать и почти дерзко надеяться, что у него хватит сил на то признание внутренней связи важнее внешней, через которое он должен был переступить — я ему написала, что хочу говорить с ним.

А Дмитрию Сергеевичу я ничего не сказала, потому что все равно знаю его и недуманные еще мысли.

Когда я еще ничего не говорила, Философов сказал: «А было бы не то, если б мы с начала остались втроем».

То, что он это сам сказал, а не согласился со мною, когда я бы стала то же говорить — было мне радостно — до счастья.

Мы хорошо говорили вместе — и почти стало явно, всем троим, что мы — в Главном согласны, все трое.

Но потом, когда первые шаги были уже как бы решены, и собрания наши для нас перестали быть главными, случилось, что один из бывавших с нами заметил это, и сказал, что ему больно. Это был Нувель, и хотя я ничего не знала, но не чувствовала его мне близким; пусть, думала я, вина на мне, но я и для себя ищу, а с ним — не найду. А чтобы дать ему — ничего еще не имею.

Тогда он, Нувель, пришел ко мне и сказал: «А может быть вы не Бога ищете, а Философова, потому что у вас к нему личное влечение».

Говорю об этом, потому что это важно, потому что он меня смутил, и я остановилась, и со мной на то время и Дмитрий Сергеевич остановился.

Испугавшись — я стала глядеть внутрь себя, но ничего не могла увидеть, потому что влюбленность в Христа, как большой свет, заслоняла всё в душе, и я не знала, что там. Но как раньше я никогда в себе этого не видела, то и осмелилась не бояться. Я же думаю, что пол — через Бога, а не Бог через пол.

Но оба они, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, еще думали, что без пола нельзя подходить к Богу, а потому я решила, что пусть они, если боятся бесполого Круга, — надеются,

что есть пол хоть *во мне*, влечение к одному из Круга. Пусть не знают, но надеются.

Еще Нувель сказал мне : « Если бы Философов наверно узнал, что вы в него не влюблены — он потерял бы всякий интерес и к вам, и ко всему делу ».

Пусть вина на мне, что я поверила. Но смотрела вперед, прямо, — и только одного хотела, чтобы мы все трое соединились, связались *Главным*. А правду потом все, не через меня, а через Него поймут.

И вот теперь я подхожу к бывшему между нами тремя, и очень трудно писать, *потому что не знаю как*, и потому что не знаю еще, было ли это нам в оправдание, в исцеление — или в суд и осуждение. Но либо одно — либо другое. Потому что это великая тяжесть, только не знаем мы, на левой или на правой чашке весов она лежит. *Каждый из нас отвечает за двух остальных, а потому еще страшнее.*

Одно мне явно : если боимся, если не приложим к этой тяжести еще и еще — значит не верим, — а значит и не хотим, — чтобы она оказалась лежащей на правой чашке; а если победим страх перед Сыном любовью — и с левой переложится на правую, ибо отдадим себя Ему вместе с грехом нашим, а в Нем — нет греха.

Было это в Великий Четверг, двадцать девятого марта тысяча девятьсот первого года. — 1901.

1901.

Пишу в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое Декабря тысяча девятьсот первого года.

О том, что было в Великий Четверг.

Постом Дмитрий Сергеевич заболел, но выздоровел. А после я заболела, и не выздоровела, но стала выходить, хотя было очень трудно, и страшное что-то, потому что я и слова и звуки слышала, как сквозь густой туман. Но зато внутреннее во мне всё сосредоточилось.

И во вторник я пошла купить чашу церковную, и прочее. И долго искала, говоря, что в дар, и в сельскую церковь. Серебряной или золотой нельзя было купить, потому что дорого. И я купила позолоченную, и всё прочее к ней позолоченное. Стоило семнадцать рублей.

И красного атласу, чтобы самой сшить покрывало, и золотой тесьмы для креста. А потом пошла купить свечей восковых для тресвещников, которые раньше были заказаны, и три свечи потоньше, для нас. И еще купила три прямых, острых, серебряных креста с цепочками, нательных, чтобы нам надеть.

Свечи я уж в среду купила, и дождь шел и снег, а я ничего не слышала от болезни, но всё ходила. И была у меня мысль, чтобы в среду мы пошли в церковь, исповедались, приобщились утром в четверг в церкви, перед нашим.

Для того, чтобы не начинать, как секту, отменением Церкви, а принять и Ее, ту, старую, в Новую, в Нашу. Чтобы не было в сердце : « У нас не так, иначе, а вы — не правы ».

И теперь думаю, что так надо было. Именно тогда надо. Но силы у меня не хватило, хотя и как убеждать — я знала. В Дмитрие Сергеевиче я была уверена, что он поймет, если долго говорить — и сделает. А к Философову, я знала, надо пойти в четыре, пять часов, взять его с собою, не говоря ничего, привести в ту церковь, где ждал бы Дмитрий Сергеевич и шла бы исповедь — и все трое мы тогда сделали бы, что нужно. Философов понял бы, потому что я сделала бы это, как власть имеющая, еслиб сделала. Но я не сделала, потому что я не « власть имеющая », потому что не верила в себя. Сила одних мыслей — великая слабость в человеке.

А словами — об этом и совсем нельзя было тогда говорить.

В среду вечером я поехала к доктору, в первый раз, к незнакомому. Его не было дома, меня провели в кабинет. Я легла на диван — и вдруг сразу заснула, точно умерла. Это было в самом деле страшно, из меня будто дух был вынут на пять часов подряд. В два часа меня разбудили, едва-едва, горничная и жена доктора, которого я так и не видела, и совсем с тех пор не видела. Я странно приехала домой — все спали, а я была точно не я, и села шить — и шила до утра, до света.

А утром пришел столяр, чтобы сделать угольник к образу, в столовой стояли цветы, которые прислал Философов для вечера, но их было мало, хотя и много.

Я уже не могла идти, и Дмитрий Сергеевич пошел купить просвиры, и купил, а потом опять сел за стол, всё писал и составлял порядок чтений и действий. Потом опять пошел купить еще цветов. И прислали большое Евангелие от Философова.

Но нельзя мне было не идти, и я пошла, и долго искала виноград, потому что он был не по времени, и нашла. И вино купила сладкое, красное, крепкое, какое в Церкви.

Потом, идя через площадь, встретила Минского, но не могла говорить с ним. А пойдя к маме, взяла сестер, и мы зашли в собор, и стали в притвор.

И ничего не было слышно, только дуло, и свечка колебалась, и солдаты вздыхали. Мы хотели хоть пение услышать, но за дверью ничего не было слышно. Дождь накрапывал.

Мы совсем почти не обедали и молчали друг с другом. По-

том вечер наступил, и длинно так шел. Цветы отовсюду пахли.

Я думала, что это совершенно невозможно, и что мы с глазу на глаз этого ожидания не выдержим. И вдруг приехал Чигаев 1), и это было хорошо. Он говорил о цветах, и Дмитрий Сергеевич с ним облегченно говорил, и так было, будто ничего, только я молчала, сказав, что больна.

В одиннадцать часов мы опять были одни. Все шло по-своему, в двенадцать мне приготовили постель. И день кончился

Я так длинно пишу, потому что не смею и не знаю, как начать. Лучше бы, может, вовсе не писать. Но пусть как умею, только пока, а то мелочи забудутся.

Когда было двенадцать часов и больше, и я, посмотрев из-под двери, увидела огонь везде потушенным, мы заперли все свои двери. И, затворив занавеси на окнах в средней комнате, вынесли оттуда диван и всю мебель, какую было возможно, кроме стола большого, четырехугольного, и четырех стульев. Три я раньше принесла из столовой, а один был.

Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой, блестящей, новой, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И на столе три тресвечника, соль, хлеб и нож, длинный и тонкий, а на скатерти цветы и виноград, и цветы растущие. И виноград и цветы на подсвечниках.

А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила в дальней, третьей комнате. В первой комнате, на столе под лампадкой лежали наши свечи, с цветами и лентами, как венчальные, и три наших креста.

Когда мы всё кончили, Дмитрий Сергеевич умылся и надел чистое белье. А я, вместо платья, надела белую сорочку, новую, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И мы думали, что уже поздно, но было только половина первого. Дмитрий Сергеевич пошел к себе и лег, и я легла, и всё засыпала внезапными мгновеньями, и тотчас же просыпалась.

Впрочем душа была от ожидания холодна и недвижна. Просыпаясь, я думала, что Философов не придет. Да и невозможно ему придти. Да и хорошо бы ему не придти.

Но он пришел, как было условлено. Было двадцать минут второго. В первую комнату, где была я. Я погасила лампы и сказала Дмитрию Сергеевичу, который встал, надел сюртук и тоже пришел в первую комнату.

И все мы были растеряны, испуганы, холодны и стыдились

1) Примечания см. стр. 70.

себя, — думаю, что все. Но со всем этим было и что-то другое еще.

Но я и о себе не всё знаю, лучше говорить только верное, то-есть только действия, — движения и слова.

Мы сели, и Дмитрий Сергеевич сказал : « Спросим себя в последний раз, может быть лучше не надо ». Но ведь уж все равно, если б и почувствовал кто, разве была бы сила уйти?

Кресты наши мы надели друг на друга, в самом начале, чтобы потом сменить их. Просили прощения друг у друга, кланяясь, и целовали руки — в ладонь. И, зажегши свечи, прочли молитву, а потом читали, наклонив свечи, Ветхий завет.

И еще раз спросили себя и друг друга : « Идти ли нам туда? » И опять я хотела сказать : « Нет, я не могу ». Но было поздно.

Оставив их — я пошла в третью комнату, согрела вино, приготовила его, и, закрыв, вынесла в среднюю комнату на стол.

А когда была одна, и грелось вино, не было у меня никаких мыслей и никаких чувств. И об этом я думала.

Вернувшись, сказала : « Пойдемте ». Но сняла раньше все кольца, все обязательства прошлого. И все за мною сняли и положили.

А колец у меня семь : и ни одного случайного, все же — символы моих кровных, плотских и духовных связей вне Бога.

Придя в комнату со свечами, мы зажгли каждый от своей по три. И сели так : к востоку, к окнам, стул был пустой. Против него сидел Философов. По левую руку от него сидела я, а по правую Дмитрий Сергеевич.

И прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу.

Первый раз читали Евангелие : было то место, где сказано : « Кто не возненавидит отца своего, и мать свою... » А я не могла тогда этого примирить в себе, потому что знала себя привязанной любовью извне, и очень сердце болело.

И сказала : « Я не могу этого понимать. Что мне делать? Как же явить ненависть? А если нету ее, как идти и думать о Сыне? »

Тогда Философов сказал : « А разве мы, сойдясь теперь, уже не явили ненависти?... »

И от этого, тогда сказанного, короткого слова я после много поняла, и в тот час мне было от него успокоение и надежды.

И для меня — действительно то слово было истиной; потому что от того дня я взяла последнюю силу над моей любовью, что была извне, и ненависть стала необходимой, как любовь; — от Любви.

И в первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложки. И каждый целовал чашу.

Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова говорили, после же другое место читали из Евангелия.

И во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши, и каждый целовал чашу.

Сев, снова молились, читая молитвы и читали откровение святого Иоанна, а потом Тайную Вечерю в Евангелии от Иоанна.

И в третий раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки, и последний выпил всё, что было, и каждый целовал чашу.

После третьего раза каждый поцеловал каждого крестобразно : в лоб, в уста и глаза.

И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, который чей на ком.

В то время рассвело, но неясный был день, а мутный, серый, дождливый.

Но все-таки был свет.

А потому мы задули свечи, и прибрали, что могли, вместе, и спрятали. А потом вышли в первую комнату, и простились. Философов кольцо забыл и вернулся от дверей. А я свои не надела до утра.

Было тогда часов пять утра, или около пяти. Когда он ушел и остались мы двое, я села на стул в первой комнате и сидела молча. Дмитрий Сергеевич тоже сел против меня и говорил слова, по которым я поняла, что он пережил это с той же и важностью, — и печалью, как я.

А я сказала : Ничего не совершено; но почти сделан первый шаг на пути, возврата с которого нет, остановка на котором — гибель. И каждый теперь зависит от каждого. И это умножение Я, утроение Я, — невыносимый ужас для слабого сердца, и для ответственности будущего.

И Дмитрий Сергеевич, посмотрев на меня, испугался, и я подумала, что он часто будет стараться не сознавать этого, пока не сознает окончательно. И я буду стараться не сознавать иногда, чтобы вырваться. Но нельзя, — как нельзя и останавливаться.

Все это я думаю — еще крепче — и теперь.

1901

Пишу на другую ночь, двадцать пятого Декабря, того же года.

Они оба счастливее меня : и смелее меня, как дети смелы, ибо не знают скорби, пока она не наступила.

Они думали, что уже совершилось нечто для того времени; а это был как первый слог необходимого слова, и еще хуже жажда знать его, ибо когда произнесешь первый слог — знаешь, что оно есть, и не знаешь его. И если медлить со *вторым* — забудется первый, и опять нет Слова.

Есть радости, начало которых, одно начало, — как скорбь. «Женщина, когда рождает младенца, терпит скорбь; но когда родит — не помнит уже скорби от радости, потому что родился человек в мир». Я не говорю, что должна быть скорбь до последнего совершення; но и *совершение первого шага* — как бы рождение. А у нас не было рождения, потому что не было всего первого шага. А в половине — скорбь и ужас. А если остановка — конец.

Таков был мой страх и моя скорбь. И мое неверие, и неправда, и слабость. Но всё равно. Вот как было у нас дальше.

Всё, что я старалась сказать, у меня не сказывалось. И стала я молчать, как молчала о поле, оставив их думать, как им было нужно. И я была одна, а они двое вместе против меня.

Тут жизнь пришла, чтобы научить. Дмитрию Сергеевичу еще раньше писала одна женщина из Москвы. Я отвечала за него, а когда она приехала — он пошел к ней, и она ему физически понравилась. После Пасхи она опять приехала, влюбленная в него. И вот он свое исключительно физическое, только плотское влечение стал оправдывать мыслями о святости пола и о святой плоти, и стал говорить о том, что «она может войти через пол», — а она совсем чужая, простая, как Божья тварь, и неподвижная.

И всё тут смешалось, стало смешным и ужасным, и нельзя уж было понять, где грех.

Мы собирались, и говорили только о поле, и Дмитрий Сергеевич всё говорил Философovu, и только был занят и говорил об этом, думая, что говорит о Главном.

Философов сознанием был с Дмитрием Сергеевичем, а бессознательно как будто нет, но может быть это «нет» шло у него от эстетики и от брезгливости.

Так и шло, и нельзя было из этого выйти, отойти от пола пока, как я хотела, как, думаю, нужно.

Если нельзя — нужно покориться. Если это теперь стоит между нами, если Дмитрий Сергеевич все-таки имеет силу говорить в этом о себе — пусть оно, хотя бы в прошлом, будет не темно между нами. Я дала Философovu свою историю, которая записана.

Было при том два моих греха: первый — нельзя делать перед близким то, что он не имеет силы сделать. А я это знала.

Второй: нельзя делать, что делаешь, не до конца. А я сде-

лала дело высокого доверия — с недоверием. Помня о *Главном*, и боясь за него — я вспомнила, как они оба, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, боятся бесполого круга, не понимая, что *иной родиться и не мог*. Помня о *Главном*, и боясь за него, и не веря вполне совершению сознания, я вспомнила слова Нувеля: «Если бы Философов узнал наверно, что вы в него не влюблены — он потерял бы всякий интерес и к вам, и к вашему делу» — и я вырезала полстранички из тетради, где как раз *говорилось* о нем, и обо всем этом. Может быть не так, слишком резко, зато было и о его силе, о том, что он сильнее нас, и это я хотела ему дать, но нельзя было иначе вырезать.

Я предвидела, что это вырезанье может быть понято обратно. Но это нужно *Главному* (если) — пусть. А условное личное унижение — что за пустяк. Поскольку это мне неприятно — постольку унижение мне нужно и полезно.

Но если это не нужно, а вредно Главному? А как я знаю? Я не умею и думать об этом. Кажется, вернее, что нужно.

Так я думала. Но тот, кто не доверяет, не дает вперед своему Я — уже неправ. Это мой грех.

И теперь не смогу думать обо всем этом изнутри и решить, почему оно было. Скажу только, что было.

От этих моих двух грехов, после, в Философове родилась ко мне враждебность. Не определенная, как всё нехорошее. А мы уехали в Москву. Там Дмитрий Сергеевич сошелся с этой бедной, влюбленной в него женщиной, и чувствовал себя и самодовольно, и трусливо. Я молчала.

Когда мы вернулись, я думала, что все-таки нельзя мне пользоваться тем, что близкие уснули. Лето подходило, когда мы, по условиям жизни, должны были разъехаться на полгода. Позор стоял у дверей, а они не слышали, и не жалели ни себя, ни меня.

Тогда я позвала Философова и говорила с ним. А он говорил о своей слабости, не замечая, что эта слабость — вольная, и в зависимости от слабости Дмитрия Сергеевича, с которым он сочувственно соединился. Я хотела схватить его за плечи и крикнуть: «Позор! вы сильнее нас!» — но зачем? Разве он поверит? Быть слабым соблазнительнее. Бросить Философова, Дмитрия Сергеевича, уйти? Этого нельзя мне сделать физически, ибо тогда всё обратится в Грех и задавит меня же. Обманывать себя можно, а сделать нельзя. Никогда.

Однако тогда я его во многом убедила. Он на другой день пошел к Дмитрию Сергеевичу и сказал, что мы должны еще сойтись для молитвы два раза. Дмитрий Сергеевич согласился, и боялся, и стыдился Философова. Друг друга они и боялись, и стыдились.

Но тут случилось вот что : Дмитрий Сергеевич захотел опять ехать в Москву, на один день, без меня, чтобы проститься с Образцовой, которая уезжала в Крым.

И при этом требовал, чтобы я сказала, что ему нужно ехать, что это хорошо для Главного (!), чтобы сама его отправила.

Я потерялась. Это очень было трудно. Я спросила у Философова, что мне делать, Но ему это, кажется, просто надоело и стало скучно.

А Дмитрий Сергеевич говорил : « Если ты меня отправишь, как я за то буду потом молиться! » Я чувствовала, что бледнею от страха. Но он ребенок иногда.

Он и уехал, а я осталась и прожила три дня в молчании, одиночестве и ужасе близкой смерти.

Философов в это время заболел, а когда выздоровел, то стал относиться ко мне с враждебностью, похожей на ненависть. Это было непонятно, но я не могла на этом останавливаться. Надо было еще раз сойтись хотя бы в оправдание прошлого.

К этому я шла, уже почти ничего не думая, просто, тупо спасая себя от немедленного самосъедения.

Когда я опоминалась и взглядывала вокруг — видела странные вещи: Дмитрия Сергеевича, углубленного в нетонкую психологию пола, и Философова, говорящего мне : « У меня нет любви к вам, лично к вам, и даже нет желания любви ». И мысленно : « Напрасно ты в меня влюблена ».

Но мне было не до того, я молчала, да и что бы я могла говорить? И думать нельзя было, ни глядеть пристально, а то стал бы думать, что это — « ужас смехотворности маленьких людей, задумавших большое дело ».

И накануне нашего отъезда, пятого Июня, мы, в час ночи, пришли в квартиру Философова, в Соляном переулке. Он жил один.

Весь день была гроза. У меня волосы точно живые на мне, это всегда очень страшно. Мысли уходят.

Я написала странную молитву, которую принесла и хотела прочесть им раньше. Но Философов не понял, что я хочу, и сказал « не надо ». Да я бы и не могла, увидев его недобрые глаза, за которыми я не видела его мыслей.

Я принесла большие красные цветы без запаха. В комнате за столовой стоял в углу столик с белой скатертью, образ и лампадка. Мы сели за стол посередине, где стояли мои цветы.

Сидели мы, как и тогда, в четверг. Я чувствовала ужас и стыд, почти отчаяние от того, что они делают это не для себя, а для меня. И что если бы не я, то этого бы не было. И что если это так, то нельзя.

Ненависть Философова ко мне заметил Дмитрий Сергеевич и сказал: «Да за что вы на нее сердитесь? Помиритесь, поцелуйтесь».

А я уже ничего не замечала; только думала, к чему мы пришли.

Поцелуй — глубокий символ. Я не целую никого. Поцелуй женский, в щеку, в воздух, нечестный поцелуй, он кажется мне грехом.

Мы читали Евангелие, а потом встали к образу и прочли заранее написанные молитвы, из молитвослова и наши, всего пять.

И тогда стало лучше немного, и простились мы лучше, чем встретились.

И с Дмитрием Сергеевичем я поцеловалась с миром (мгновенным) в душе, с честным желанием веры ему и в то, что Бог его отпустит.

Философов сказал: «Все-таки ведь вы уходите лучшие, чем пришли?» И это была правда.

И если с такими душами придя, мы уходим лучшие — какую силой мы пренебрегаем!

Наступило лето. Я жила с одинокими мыслями, потому что Дмитрий Сергеевич был все еще в поле, мы совсем ни о чем с ним не говорили, точно по молчаливому соглашению. О Философове я не хотела ничего думать, а он, как я и предполагала, нам не писал.

Я, впрочем, думала, что враждебность его, как вряд ли понятная ему, уляжется от времени. Это меня несколько не радовало, а было неприятно. В Главном (езде, где оно) — не Время повелевает мною, а Я — Временем. Времени нет роли.

Теперь должна еще сказать о Нувеле.

Во время весеннего моего метанья я всё старалась обманывать, поддерживать себя мыслью, что в крайнем случае я уйду от них обоих, от Дмитрия Сергеевича и Философова. (Знала, что обманываю!). Но надо было жить как-нибудь дальше.

И в эти дни я говорила со всеми, искала огня у всех. Говорила с Минским о нем. Говорила с Нувелем, возвращаясь в белую ночь от Розанова. Нувель мне показался страдающим, и что-то искреннее мелькнуло в нем.

Накануне отъезда моего, днем, Нувель был у меня — но тут он мне показался только любопытствующим. Я его никогда не любила. Но знала ли я его?

Он сказал: «Пишите мне, прошу вас. Мы должны узнать друг друга. Вы оттолкнули меня, когда я шел к вам. Вы виноваты». Я сказала: «Да, может быть. Хорошо, я напишу, как вы просите, первая».

В переписке стало всё настойчивее выясняться, что у нас главное — не общее; потому что мы писали мимо друг друга.

А особенно ужасны были наши свидания. Их было несколько. Первое в конце Июня, потом еще два-три.

Пока можно было скрывать от себя и друг от друга, что мы говорили мимо друг друга, не соединенные ничем, — я скрывала, в слабости.

Я виделась с ним, говоря себе, что для того вижусь, чтобы любить себя и его. А выходило, что я, во время этих свиданий, презираю и себя, и его, и ничего сделать нельзя.

Он говорил, а я ничего не говорила, только слушала. И это был мой позор и падение, потому что я уже знала, что для нас Главное — разное; а я слишком слаба для этого человека, я сама нуждаюсь, чтобы мне давали.

Не надо подробностей. Я и сама себя не хочу обличать. А другого прямо не смею.

А кончилось так: на третье, кажется, свиданье у меня не стало сил, и я сказала: «Боюсь, чтобы нам не ошибиться. Не в разное ли мы верим? Не различного ли хотим? И направления у нас одинаковые ли?»

И сказала ему тут в первый раз, — какое у меня отношение к его главному, т. е. к Философому.

А говорили мы сначала так: он говорил, что его «призвание» — «спасти» Философова, а я говорила, что у меня другое призвание, и вообще всё во мне совсем иначе.

А потом мы уже стали говорить прямее, и тогда выяснилось и для него, что между нами нет ничего общего.

Последнего слова, однако, с прямотой, словами, не было сказано, т. е. что «нет ничего общего», а сделалось так, что прекратилась переписка после нескольких его злых писем; злость под разными предлогами.

Что мне делать? Я слишком слаба для него. А он не дает мне силы.

О бывшем у нас я не говорила ничего даже тогда, когда он говорил «мне всё известно», любопытствуя. Заслуги моей нет, ибо я просто не смогла бы сказать. И так я говорила мало, но я слушала о Нувеле, не противореча от себя, а стараясь стать на его точку зрения, поддакивала на всё о нем, и так больше, чем нужно.

Говоря, в тот единственный раз, о себе и о Философове мою правду — я сказала и мои мысли о поле, как опять не Главном и непременно не первом.

Конечно он не согласился, или не понял, а сказал: «Розанов — наш учитель. Его одного можем мы слушать, — и вы должны бы. Берегитесь (если все-таки хотите сохранить

Философова для *ваших* дел) сказать ему то, что мне сказали о себе — к нему. Я его знаю лучше вас ».

Но я тогда же подумала, что этого больше не будет. Дмитрий Сергеевич, как ни ужасен иногда — равен мне; я, как ни бездарна иногда — равна ему; Философов, как ни тоньше, ни благороднее, ни сильнее меня — равен мне; я, как ни живее и ни стремительнее Философова — равна ему.

Уничтожив этот принцип — мы уничтожим и себя, и друг друга, и бывшее между нами.

Потому не буду ни снисходить, ни прощать, ни лгать хотя бы для «*благих*» целей, а только относиться как к равным, вернее — как к себе.

Нувель считает себя выше меня, а я — себя выше него. И ничего не будет между нами, так же, как если бы я считала себя ниже его, и он себя — ниже меня.

Он почти страшен отсутствием первого понятия о Любви. Жалость ему заменяет любовь. Говорил «я готов полюбить вас» — когда готов был пожалеть. А не находя, за что жалеть — ушел со злобою. Я все-таки не знала вполне, а то оставила бы по слабости, пусть жалеет — «любить» за «несчастную любовь».

Я говорила ему об этом. Он даже согласился. Потом забыл. Ему всё легко и всё всё равно.

Влюбленность не связана, вне Бога, с любовью.

Так мы разошлись — и даже не очень честно, — до времени.

А у Дмитрия Сергеевича свершала свое течение жизненная комедия пола, безбожная, а потому идущая помимо его воли.

Очень жалко было эту женщину, милую Божью тварь. И она спасется, только каждому свои пути.

Когда уже осень пришла, и Дмитрий Сергеевич, я видела, был по-прежнему, по-старому, свободен от внешнего налета подвременной жизни (хотя мы упорно о Главном с ним не говорили) — я подумала, что *пора заговорить*.

И первого Сентября 1901 г., возвращаясь из лесу, при закате, на широкой песочной горе, сказала :

«*Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать наши собрания?*»

Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал : «*Да, я думаю — продолжать. Собрать их всех и предложить, хотят или не хотят молиться вместе? Там и посмотрим. Да, я думаю...*»

Хотела я спросить : «*Кому, чему молиться вместе?*» Но не спросила, и вообще в тот день ничего не сказала.

А второго, сойдя вниз к завтраку, сказала ему :

« Последняя мечта наша — не создание Храма, а создание Церкви. Совместная молитва соединяет, а жизнь разъединяет. Символы — не действия. Мы сделали полшага к нашему Храму, но не сделали в то же время ни одного движения к нашей Церкви, — потому у нас почти и не вышло ничего. Разве не стоял между нами тремя всё время страшный и нерешенный вопрос : « А какое отношение это всё имеет к моей жизни? »

Дмитрий Сергеевич сказал : « Да ».

А я опять сказала : « Мы теперь не должны и говорить о далеком, очень уж мы беспомощны и ничего почти не сделали. А не думаешь ли ты, что нужно начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, пошире, и чтобы оно было в условиях жизни, чтоб были деньги, чиновники и дамы, явное, — и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходятся, и чтобы... »

Тут Дмитрий Сергеевич вскочил, ударил рукой по столу и закричал « верно! » Я была очень счастлива, но мне хотелось договорить :

« ...и чтобы мы трое, ты, я и Философов, были в этом, соединенные нашей связью, которая нерушима, и чтобы мы всех знали, а нас, о нас, никто не знал до времени. И внутреннее будет давать движение и силу внешнему, а внешнее — внутреннему ».

Договаривать этого и не нужно было, ибо Дмитрий Сергеевич уже сам всё понял.

Мы в тот день ходили в осенний лес и всё только об этом одном говорили.

Но и эта мысль, даже эта, была слишком далекой, и хотя много из нее начало осуществляться, но не совсем так, и не всё. Впрочем, жизнь научит, если не покоряться ей, как щепка покоряется ручью.

Приехав в Петербург восьмого Октября, — мы принялись за дело. Сначала говорили со Щербовым 2). Потом стали другие собираться около. Тернавцев 3), Розанов, другие.

И определенно мысль наша приняла такую форму : создать открытое, официальное (условия жизни, как входящее) общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры.

Не буду писать подробно, как это созидалось, с какими суетами, с какой внешней политикой.

Философов был болен, мы его не видели, но у нас была твердая вера в него, уважение к неизбытному прошлому и надежда на скорое пополнение сил, которые, однако, приходили к концу.

Когда Дмитрий Сергеевич пошел в первый раз к Философову, я не знала, говорить ли ему? Если он болен — сразу ли поймет всё?

А мы однажды видели Философа в Сентябре, на полчаса, приехав из Луги.

Мы не позволили себе иметь никакого впечатления от этого свиданья. Что было — то было, а если было — то есть, и так нужно. А что будет — то будет лишь потому, что было бывшее.

От Него и с Ним.

Однако повсюду уж говорили об обществе, а потому надо было сказать Философову изнутри, потому что и общество, и мы от него зависели.

Перед открытием учредители были у Победоносцева, утром, а в тот же день были, вечером, у митрополита Антония. Философов у митрополита не был, потому что еще болен, и были : Розанов, Тернавцев, Мережковский и Миролюбов.

Победоносцев принял их весьма официально. А митрополит Дмитрию Сергеевичу очень понравился, и всё кругом, и чай, который он разливал, и тихие речи, которые он говорил.

Устроено всё было с немалой помощью Скворцова, чиновника при Победоносцеве, имеющего репутацию миссионера-гонителя, и жаждущего оправдаться перед « интеллигенцией », а потому чрезвычайно деятельного в деле « сближения Церкви с интеллигенцией ».

29 Ноября было первое Религиозно-Философское Собрание в зале Географического Общества.

Это внешнее дело, может быть еще слишком отвлеченное, недостаточно жизненное, ушло вперед от нашего внутреннего дела, а потому, несмотря на внешний успех, оно нетвердо и хаотично.

Внутреннее же дело остановилось из-за болезни Философова. Уже чувствуется влияние присутствия дела внешнего на возможности, перспективы внутреннего, — и наоборот. Но стрелка весов должна стоять прямо, а теперь она колеблется.

Внутреннему делу предстоят такие трудности, что страшно и думать, но они вот, при дверях. И каждый день времени — тут как год.

Писать о них нельзя, ибо я пишу только о Бывшем.

28 Января 1902

« Мне отмщение, и Аз воздам »

Пишу двадцать восьмого Января тысяча девятьсот второго года о том, что было с нами после этой записи.

Осенью (1901) Философов, всё больной, написал, что хочет

видеть нас еженедельно без посторонних, и таким днем была назначена среда, и в среду вечером он к нам приходил.

Говорили мы о внутреннем деле, о его необходимости, и во всем были согласны. Я стала работать над молитвами, беря их из церковного чина и вводя наше.

И потом все вместе читали и обсуждали, и остановились на службе вечерней, которую составили и обсудили.

Каждый раз многое изменяли и дополняли, и не нравилось мне, что я делаю больше них, а они лишь принимают и вставляют.

Но многое и сообща было найдено и создано.

На первом Собрании Религиозно-Философского Общества Философов был, но очень удивил меня. Собрание было таково, как и могло, и следовало ему быть, а он точно остался недоволен.

Я написала письмо, анонимное, Скворцову, о котором знал Философов, и даже сам приписал *post-scriptum*, и письмо это было нужно, и Скворцов его на заседании прочел, что тоже было и нужно, и хорошо, а Философов сказал мне: «Никогда не испытывал такой муки». Смешно?

Потом мы долго не видались, а я написала ему: «Вы должны прочитать на следующем заседании реферат, который мы вместе напишем».

Он ответил: «Я безусловно против чтения рефератов, не буду писать. Приду тогда-то».

Пришел он днем, а вечером мы уезжали в Москву. И был между нами разговор.

То-есть Философов стал вдруг говорить, что у него свои дела и огорчения, что в *Мире Искусства* все против него, а что он считает себя с ними больше связанным, а нам он не равен, а только игрушка в наших руках и всё такое.

Я молчала, потому что слов не находила. А Дмитрий Сергеевич говорил с ним, напомнил ему бывшее и то, как мы в нем нуждаемся теперь, и что можем все трое от него погибнуть.

Где кровь заметалась, то куда ни двинься прочь, кто ни двинься — через кровь переступишь.

И так мы говорили, пока Философов вдруг не встал и, со словами: «Кончим, пожалуйста, этот тяжелый разговор», не подошел к Дмитрию Сергеевичу и не поцеловал его, прибавив: «Простите меня».

Потом подошел ко мне с тем же словом, я молча наклонила голову.

Но он взял за руку и сказал: «Нет, встаньте, посмотрите на меня, поцелуйте меня и в самом деле простите».

Всем нам сразу после того стало легче, а была раньше мука до слез.

Дмитрий Сергеевич ушел гулять, а мы с Философовым сидели еще до обеда и говорили обо всем.

Было это пятого Декабря 1901, накануне Николина дня, соборный колокол гудел, и Даша 4) зажгла мою лампадку.

А вечером мы уехали в Москву.

На прощанье я опять говорила Философову о реферате.

Из Москвы мы писали ему письмо — о том месте Евангелия : « Кто любит отца, или мать, или жену более Меня — не достоин Меня ». И еще : « Если рука твоя соблазняет тебя... »

Великие это слова — о ненависти. И страшные.

Когда мы приехали из Москвы — в тот же день я получила от Философова написанный реферат и записку, где он писал, что опять болен и рад, что мы вернулись.

Через несколько дней мы были у него, и я читала ему его переписанный мною реферат.

Он сказал : « А у меня к вам просьба : вот корректура статьи Бенуа, ответ мне. Я хотел бы возразить, один я не сумею, помогите мне ».

Дмитрий Сергеевич сказал : « Конечно, мы все вместе это сделаем ».

На вопрос о моем московском письме Философов сказал, без всякого раздражения : « Бог с ним... я его боюсь ».

С рефератом были у нас кое-какие письменные недоразумения, он изменял, чуть-чуть, переписанное мною, я восстанавливала, но это пустяки.

Реферат прочел Тернавцев на заседании, потому что Философов совсем опять разболелся, жил у Дягилева и не выходил.

Зинаида Гиппиус

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Д-р Чигаев — доктор Мережковских в Петербурге.

2) И. П. Щербов (умер 1925 г.), глубоко религиозный человек, друг Мережковских и профессор Духовной Академии в Петербурге.

3) В. А. Тернавцев — богослов-эрудит, пламенный православный, очень талантливый оратор, бывший секретарь Святейшего Синода. Сыграл большую роль в Религиозно-философских собраниях 1901-1903 гг. в Петербурге. Арестован после революции 1917 г. и сослан в один из концентрационных лагерей в Сибири, где и умер до Второй мировой войны.

4) Дарья Павловна Соколова — няня З. Н. Гиппиус.

ЧЕРВЕНАЯ ЦЕРКОВЬ

(Перушица. Болгария)

Сколько веков уже эти развалины из красного кирпича, среди полей и виноградников, поднимаются к небесам? Кто разрушил этот когда-то великолепный храм? Турки? Нет, вероятно много раньше. Возможно, что землетрясение. Стенопись приписывается византологами мастерам шестого века. В те времена это была Фракия, византийская провинция. Но не провинциальна живопись «аль фреско», не провинциален план этого храма и о роскоши говорят остатки облицовки розового мрамора и медные водосточные трубы, проведенные в бассейн, в виде четверолистника, крестильни.

Полон очарования был для меня этот месяц сентябрь, проведенный на раскопках Червенной церкви! Я поехала туда по поручению Софийского Археологического Института, но за Институтом стояла мощная фигура профессора Н. П. Кондакова, этого «отца византологии». Ему уже исполнилось восемьдесят лет, но динамизма ничуть не поубавилось. Остановившись в Софии проездом из Константинополя в Прагу всего на два дня, слегка простудившись, он по просьбе местных ученых археологов остался еще на неделю и в конце концов прожил в Софии больше года, чрезвычайно ценного для разработки археологических богатств Болгарии, как раз осиротевшей: была проиграна война, не стало Российского Археологического Института в Константинополе, во главе с профессором Успенским, щедро отпускавшим средства для раскопок на территории Болгарии.

Появление профессора Кондакова и его высокий авторитет воскресили надежды ученых. И действительно, американский ученый мистер Уитмор, приехавший «поклониться» Никодиму Павловичу, достал некую сумму у американских меценатов на самое нужное. Раскопки стоят дорого, — выглядит незаметно, а поглощается быстро.

— Самое замечательное на территории Болгарии это, конечно, развалины Червенной церкви, — сказал Кондаков. — Нигде в мире нет ничего равного этому и по художественной ценности, и по научной. Пока план церкви, фундамент, не будет «открыт» от нанесенной земли и глины — я не уеду отсюда. С фресок надо снять копии, они не могут оставаться дольше под открытым небом.

Так было решено и зарисовка фресок была поручена мне, несмотря на молодость лет уже опытному акварелисту. Я отложила свой отъезд в Париж и мы с мужем спешно выехали в Перушицу. Снабженные главным образом моральными напутствиями, остальную материальную часть мы должны были разрешить сами, а насколько она была сложна — мы узнали на месте. Перушица большое и очень богатое село, четыре тысячи домов, мощенные улицы, двухэтажные постройки, через улицу с балкона на балкон брошены трельяжи и спускаются грозди золотистого винограда. Кругом виноградники, на холмах пасутся стада коз, которые кажутся голубыми, сливаясь с горизонтом.

Да, Болгария красивая страна, на редкость живописная, разукрашен на диво каждый домик, обсажен цветами, а вот попробуйте войти в него! Ни один уважающий себя крестьянин комнату «чужденцу» не сдаст. Есть на главной площади корчма, мрачное полуразрушенное запущенное здание, отчасти без крыши. В комнатах на полу лежат остатки потолков. Нет и хозяев. Где они?

— У греков в плену. Еще не вернулись.

За хозяина — Христю, 16-летний племянник. С восточным безразличием он указал на верхний этаж, на ряд пустых комнат:

— Живите там наверху, в любой комнате, только от меня ничего не требуйте, ни воды, ни еды; я занят, работаю в парикмахерской.

С водой дело обстояло просто — колодезь во дворе, а что есть и где? Ну, не всё сразу — завтра увидим. Крышу (разрушенную) над головой имеем.

Проснулись мы на другой день от яркого солнечного света и невероятного шума, который несся в открытые окна. Глянули — базар на площади в полном разгаре, по восточному пестрый, яркий и крикливый. Груды овощей, корзины с дынями и арбузами, оранжевые тыквы, козлята, барашки... Продавцы и покупатели в национальных костюмах, ярко вышитых, не отстают друг от друга в оглушительной болтовне. Тут же на вольном воздухе наш хозяин, Христю, стрижет и бреет желающих, а таковых много, целая очередь. Вот она «еда», весь вопрос в том, кто ее сварит? Никаких признаков ресторана или кафне. И то сказать, приличные люди едят у себя, в «кыште» (дома). Но я была уже больше года в Болгарии и знала, сколь важную роль в селе, да и не только в селе, играет «фурнаджия» (булочная), я туда и отправилась. Фурна берет за плату печь, жарить любую снедь, не только гуся или курицу, но и «чорбу» (борщ), рагу и сладкий пирог.

Войдя с яркого света в полутемную, закопченную фурну и увидев фурнаджию, вытаскивающего ухватом и кочергой длинные золотистые хлебы, я в первую минуту, как Чичиков, навестивший Плюшкина, не знала, как к нему обратиться: «Госпожа?»... «Ой, баба? ой, нет?»... Бороденка реденькая имела, но голова повязана по бабьи платком и халат до пят, подхваченный поясом, безусловно женский.

Но когда фурнаджия заговорил низким баритональным басом, стало ясно: мужик, а не баба! Сошлись мы с ним очень скоро. Решено было, что я ему каждое утро буду давать мясо (козленка или барашка), овощи, порцию жиров и он будет готовить по своему усмотрению какую-то снедь. Удобство в этом национальном институте фурнаджиев то, что заказчиками все дается в сыром виде, он сам и почистит, и сдобрит, поперчит и посолит, и помешает на огне. Тут же на базаре купила глиняный горшок и блюдо и изрядное количество провизии и фруктов. Но мы были уже пол-суток в Перущице, а Червеную церковь еще не видели! Третий визит был к местному священнику, отцу Василию Липчеву, куда софийские археологи нас посылали в первую очередь. Нашли церковь, Перущинскую, новую, большую и внутри совершенно пустую, не только без людей — они все были на базаре, — но и с голыми стенами. Ни икон, ни благолепия. Вышли и сразу же на паперти столкнулись со священником.

— Я вас ждал, сказал он, — мне о вас писали из Софии.

Ничего подобного я не ожидала. Он был очень молод и так замечательно красив, что хотелось отказаться ото всех планов, поставить мольберт и писать с него Иоанна Крестителя.

В Болгарии священники и монахи носят длинные волосы, бороды небольшие и черная довольно широкая ряса схвачена поясом. Отец Василий ласково смотрел на нас блестящими черными из-под густых ресниц глазами, легкий румянец на смуглом лице, ровный нос, блеск солнечных лучей на черных волнистых волосах. Сиял улыбкой.

— Хотите, я провожу вас в Червеную церковь? Это недалеко, версты три или четыре, я хорошо знаю эту дорогу. Пока этим летом шли раскопки фундамента, я там часто бывал, среди руководителей было двое русских, один архитектор, другой студент.

Пройдя деревней, мы вышли в поле и сразу увидели впереди нас развалины Червеной церкви. Среди виноградников они своей значительностью и грандиозным взлетом напоминали Колизей. Сохранилась часть стен, начало купола, часть главной апсиды и несколько арок поменьше.

— Вы знаете, раскопки закончены, промеры сделаны, ле-

са сняты, все разъехались, вы будете одни. Ведь вы приехали для фресок?

Мы подтвердили. Тем временем мы быстро шли проселочной дорогой. Отец Василий очень хорошо говорил по-русски, без малейшего болгарского акцента. Когда я ему это сказала, он улыбнулся :

— Ничего удивительного, я пол-жизни провел в России и окончил Московскую духовную семинарию. Я как-нибудь расскажу вам о чудесной встрече, направившей всю мою жизнь. Но вот мы и пришли.

Вблизи все было еще много грандиознее, сильнее, неожиданней. Северная стена, на которую раньше опирался купол, была в двадцать семь метров высоты. Закинув головы, мы смотрели вверх. Над могучими темно-красными стенами — нежно голубел купол небесного свода. Из какой-то щели наверху с тревожным криком « куку-мяу, куку-мяу »... вылетела большая птица.

— Это кукумявка, — сказал улыбнувшись отец Василий, — это род совы, у нее здесь гнездо, но она безвредна. Гораздо худшее соседство — это змеи. Их здесь очень много. Есть разные, большие до двух метров длины — это « смоки », ужи, они безвредны, но если вы увидите небольшую змейку ярко-алого цвета, это коралловица, очень ядовитая и смелая, уступайте ей дорогу и бегите подальше.

Я смотрела на стенопись. По счастью она была на средней части стен.

— А можно достать лестницу? — спросил муж.

— Да, конечно, можно, в нашей церкви есть, раздвижная, с площадкой, я вам ее доставлю сюда.

Мы привезли с собой довольно сложной системы, нами изобретенной, шесты, метры, линейки и угольники, уже проверенные нами на работах в Арбанаси. Мой муж оказался очень ценным помощником — он окончил Петровско-Разумовскую академию и очень хорошо снимал, вычерчивал и математически точно уменьшал планы. Решено было завтра же начать работать.

— Имейте в виду, у вас ровно месяц для работы, вот этот сентябрь, а в октябре польют дожди не хуже, чем в тропиках.

На другой день с утра мы отправились в Червеную церковь. На дороге, довольно далеко впереди, мы увидели два темных силуэта, несущих длинную лестницу.

— А ведь один из них отец Василий! — воскликнул муж, — я просил его за наш счет нанять телегу для лестницы, а он тащит сам!

Когда мы подошли к развалинам, отец Василий стоял весь—

ма довольный, утирал пот и разминал плечи. В ответ на наши упреки, он ответил :

— Для хорошего дела и потрудиться не грех! Сколько я смотрел на эти остатки стенописи и жалел, что они обречены исчезнуть от непогоды, и вот вы приехали издалека, чтобы запечатлеть их для будущих поколений.

Живопись действительно была замечательной. Я уже раньше в Софии видела фотографии с нее, правда, несовершенные, и выслушала целую лекцию о ней профессора Кондакова, прочитанную для «своих» в Археологическом обществе, но только сейчас, увидев этот ни с чем не сравнимым колорит, этот вдохновенный полет композиций, я поняла то значение, которое византологи отводят этим фрескам. Мы далеки от застывших форм и условностей византийской религиозной живописи, где всё по «лицевому списку», — почтительная традиция и слегка сухая иконографика.

В своде одной из невысоких арок — два ангела, чуть больше человеческого роста. Воздев обе руки, поддерживают медальон, в котором едва сохранился «Агнус Деи». Ангелы на бледно-голубом фоне в розоватых одеждах. Медальон Агнус Деи в обрамлении из жемчужин. По нежности красок можно сравнить только с фресками Виллы Лемби, которые Боттичелли написал девять веков спустя. А по мощи и силе фигур можно сблизить с Тинторетто. Точно слышишь трубный глас. А ведь сохранилось так мало! Сколько торжества в посадке головы, а лица стерты временем! И то сказать, учеными фрески датируются VI-м веком, а мы живем уже в XX-м!

Следующий свод небольшой арки и, наконец, я увидела Моисея, уже знакомого по фотографии. Он тоже в медальоне из коралловых бус. Мог ли кто-либо, даже из любителей религиозной живописи, себе представить так Моисея, восходящего на Синайскую вершину? Этот златокудрый юноша, безбородый, юный, молодым движением делает последние шаги, лицо полузакрыто широким рукавом бледно-голубой в складки одежды. Длинная тога шлейфом тянется за ним. Направо от него горит кирпично-красноватым цветом, похожая на чертополох, неопалимая купина. И мне, именно мне поручено скопировать акварелью эти гениальные композиции для издания! Профессор Кондаков доверял точности моей работы.

Само собой, только калька снимается в величину оригинала. Она математически уменьшается до нужного масштаба, так что получается небольшой в пятьдесят сантиметров высоты картон. Сколько помнится, мы уменьшали в семь с четвертью раз. Фрагментов было много. Евангельский цикл и библейский. Путешествие, бегство в Египет. Вещий сон Иосифа. И поздней-

шие темы : Апостол Павел, ведомый на казнь. Кроме этой ранней стенописи имелось еще два позднейших наслоения, лет сто спустя. Гораздо грубее, суше, мельче, без этого небесного легкого голубого колорита. Были и сильно стертые надписи древне-греческими буквами.

Обычно мы работали до глубоких сумерек и когда приходили в деревню, было уже совсем темно. Стучали фурнаджии в деревянную ставню, она приоткрывалась, внутри ярко пылала русская печь. Фурнаджия, повязанный по бабьи платком, с трясущейся бородкой, длинным ухватом вытаскивал из печки наш горшок и протягивал его нам. Ну, совсем Баба-Яга из сказки... Мы возвращались в нашу полуразрушенную харчевню (даже входных дверей в этом доме не было, они были сняты с петель и лежали в коридоре), страшно голодными, проведя целый день на воздухе. Сухая провизия отсутствовала, а рагу в соусе не понесешь с собой. Выпивши в половине седьмого утра чай, до 8-и вечера мы ничего не ели, зато каким вкусным нам казалось горячее мясное блюдо в остром соусе, приготовленное фурнаджией!

Христю хотя и предупредил нас, что заниматься нами не будет, но все же пристроил нам в камине род примитивного очага в нашей комнате, чугунный треножник и котелок, так что поужинав, мы кипятили воду для чая. Нередко отец Василий приходил к этому весьма примитивному чаепитию. Однажды он принес свою фотографическую карточку, ребенком. На фоне горного пейзажа, худенький черноволосый и черноглазый мальчик лет десяти-одиннадцати, очень хорошенький, с посохом, цыганского облика и в цыганских лохмотьях.

— Отец Григорий Петров, русский священник-путешественник, миссионер, если хотите, нашел меня поводырем у слепых цыган, но сам я не цыган, я болгарин-сирота, ими подбранный. Отец Григорий расспросил меня о многом, о моей жизни. Спросил, верую ли я в Бога и был ли крещен? Я ответил : « в Бога очень верую, а крещен ли — не знаю, не думаю »... В тот же день он окрестил меня и одел во все новое, впервые в жизни, и спросил меня, хочу ли я учиться? Я признался ему, что мечта моя быть священником, во сне это иногда мне чудится. Ну, что-ж дальше? Выкупил отец Григорий меня у цыган и увез в Россию. И видите, осуществилась моя мечта — я служу Господу Богу в храме, но другая часть моих мечтаний, послужить моему болгарскому народу — нет, она не осуществилась! Вы видели церковь? Она внутри даже не оштукатурена. Какое там благолепие! Мне случалось на Украине видеть в селах церкви, икон сколько, венчиков из бумажных цветов, украшены, вышитыми рушниками обрамлены. Лам-

падки горят. Отвык болгарский народ церковь посещать! В базарный день, в воскресенье — ни души. Бог у них один : « пари » (деньги). Трудолюбивы — да, но лишь для наживы. Говорил, усовещал, старался заохотить — куда там... И знаете ли, решился я покинуть Перущицу. Буду просить другой приход, победнее, да поглуше. Пошел переговорить с кметом (мэр Перущицы), с самым богатым мужиком в селе, он же церковный староста.

— « Погоди, отче, дай мне с моими односельчанами переговорить. Ты что хочешь? Чтобы церковь закончили внутри? Иконостас настоящий поставили бы, да ярмарку не назначали бы в воскресенье? Посмотрим, что можно сделать общими силами »...

— Ну, и что же, вы думаете, порешили они, наш « волостной совет »? — « Мы тебе, отче Василий, построим кышту (дом), в полное и потомственное владение, тебе и детям твоим. Как у тебя будет своя кышта, не будешь стремиться покинуть Перущицу ». И не понимают, почему я отказался! « Мой дом, говорю им, храм Божий, и другого мне не надобно ».

Отец Василий стоял у очага, освещенный розоватым пламенем догорающих углей, с вдохновенно прекрасным лицом, такой молодой и с такой трудной задачей впереди : проповедывать Слово Божие слишком материально благополучным обывателям.

С обывателями, правильнее — с обывательницами, пришлось познакомиться и нам несколько ближе. Наше появление вызвало в деревне сильнейшее любопытство, особенно мое, молодой женщины. Конечно, летом два месяца уже велись раскопки, но все их участники жили лагерем в палатках, около самых развалин Червеной церкви. У них был свой грузовичек и они возили провизию прямо из ближайшего местечка, минуя деревню, сами и варили, участниками были одни мужчины, землекопы специалисты, артель, и работали они не впервые для археологического музея, в разных частях Болгарии. Нам же предстояло каждое утро по главной улице пересечь деревню Перущицу. Мы шли мимо богатых деревенских домов с балконами и галереями, часто увитыми розами в цвету, и над нашими головами в трельяже, переброшенном через улицу, созревал золотистый виноград. Из калитки почти что каждого палисадника выходила хозяйка и здоровалась с нами. Одеты были женщины все одинаково : черное из плотной материи длинное платье, на голове шелковый платок темного цвета. Поздоровавшись, баба становилась напротив, мешая идти дальше, и начинались расспросы :

Как меня зовут? Сколько мне лет, сколько у меня детей?

Живы ли мои родители, и где они? Где я родилась? В какой деревне и почему я там не живу?

Дальше следовала нотация: « Не женское дело ездить за мужем. Конечно, ты ему помогаешь, но твое дело смотреть за домом и детьми » и так далее.

Отделавшись от одной бабы, я через два-три дома попадала в лапы другой и опять вся канитель сначала...

А мы спешили! Погода была чудесная, один день как другой в золотисто-перламутровых тонах. Я попыталась использовать контакт с бабами, чтобы купить у них винограда, на базаре его не было — куда там! Глубокое возмущение: « Мой дом не лавка, да мы по мелочам не продаем, вот приедут из Пловдива и весь виноград срежут одним разом — это винный сорт. А виноградники, что видишь там на холмах, тоже мои, а чужденцам я не продаю, не нуждаюсь в этом! » Я начинала понимать отца Василия.

Работа наша спорилась. Я сняла точнейшие копии с вдохновенных фресок первейшего периода и мы перешли на сложные композиции Евангельского цикла, расположенные довольно высоко, так что надо было работать на лестнице. Сцены поклонения волхвов, избиение младенцев (почти не сохранившееся), но прекрасное изображение царя Ирода, бегство в Египет — длиннейший фриз. Детство Иисуса Христа. Затем, по Евангелиям от Луки и Матфея, длиннейший пересказ во фресках. Пророку Захарии отведено большое место. Довольно хорошо сохранилась сцена, изображающая святого между двух воинов, ведомого на казнь. Профессор А. Н. Грабарь определил эту фреску как апостола Павла.

Иногда отец Василий приходил к нам днем в Червеную церковь. Помогал мужу стоя на лестнице укреплять кальки. Восхищался моими акварелями. Вокруг нас светло-золотистым ковром по пологим холмам зеленели виноградники. Дальше голубели невысокие отроги гор. Иногда бывал виден и участок пахотной земли и человек, что шел за бороздой. Пахал он сохой. В Болгарии много таких контрастов: так почти в каждой деревне есть вышка с зенитным орудием « расстреливать » черную грозовую, с градом, тучу и электрификация проведена довольно широко, а наряду с этим глубокое средневековье!

Внутри церкви на земле валялись куски разноцветного хорошо отполированного мрамора. Когда-то Червеная церковь была облицована на два метра от пола вверх таким мрамором. И мы задавали себе вопрос — что это было раньше? Не мог такой великолепный храм стоять в чистом поле! Был, видимо, вокруг богатейший город, может быть, летняя резиденция правителя области? На монастырскую, таинственно-темную

базилику не похожа. План Червеной церкви, открытый раскопками, — в виде Quatre-feuilles, главная абсида была с открытыми широкими пролетами на север, юг, восток и запад. Стройные высокие своды — не церковь, а дворец был создан во славу Пресвятой Богородицы!

Предупреждение отца Василия насчет змей оказалось правильным, они нам очень досаждали. После раскопок уровень церкви был почти на метр ниже окрестной поросшей бурьяном земли. Было сделано три входа в церковь, с грубо сложенными каменными ступеньками и нечто вроде траншей к ним ведущих. Вот в этих проходах змеиные семейства и располагались. Уходя, надо было искать свободный проход и пугать их стуком камней друг о дружку. Кукумявка совсем подружилась с нами, слетала вниз, хлопала крыльями и сбрасывала сухую ветку иной раз прямо на рисунки. Однажды, сидя на земле и разложив вокруг себя свои принадлежности: палитру, перочинный нож, карандаши, резинки, я потянулась как раз за резинкой и вдруг заметила, что она двигается... Оказался скорпион!

Посетил нас и кмэт (мэр Перушицы). Называл мужа «господин профессор», меня уходя похлопал по плечу и заметил: «работай, работай, приучайся, помогай мужу!...»

Кроме несостоявшейся покупки винограда была еще попытка купить курицу. Муж взмолился: «каждый день жирная баранина или худой козленок, не могу больше! Нельзя-ли курицу, сколько их по улицам бегают!»

Фурнаджия согласился: «принеси ощипанную курицу, сварю суп или зажарю ее, как хочешь».

Выбрав бабу полюбезнее, я попросила продать нам курицу. После длинных вступлений и расспросов, баба согласилась: «Так и быть — согласна!» Цену она заломила вдвое против базарных в Софии за пулярдку или индейку.

— Вот видишь, бегают по двору, лови любую, вот тебе нож, а поскубсти можешь в сарайчике.

Когда я отказалась, она с величайшим презрением на меня посмотрела. «Не умеешь! Я в восемь лет умела зарезать петуха или гуся, а это куда труднее! Ну так будешь без курицы, я на тебя работать не стану. Почто избегла от Россия?... Там бы и жила, где родилась»...

Сентябрь месяц кончался, на горизонте собирались облака. Мы заканчивали съемки. Наконец могли послать в музей телеграмму: «просим приехать принять работу». И на другой день приехал Андрей Николаевич Грабарь, теперешний профессор, известнейший византолог, автор многих трудов. Я его знала еще по России. Он успел окончить университет в Петер-

бурге и был профессором Эйналовым оставлен при кафедре. Вместе с тем он был и киевлянином — отец его, до назначения в Петербург, был старшим председателем суда в Киеве. Андрей Николаевич Грабарь был причислен к Археологическому музею в Софии и, я думаю, был самым молодым сотрудником. Мы с ним провели почти целый день в Червеной церкви. Он определял сюжеты, фактуру фресок, время, читал древне-греческие надписи, что для моей работы было особо важно, так как они были так стерты, что иногда из двух строчек оставалось полторы буквы, и легко было пятнышко или трещинку принять за букву.

Поздно вечером, нагруженные нашим материалом, мы вернулись в наш «отель», ели рагу из барашка, пили чай, сваренный на треножнике. Подошел и отец Василий. Не так давно, условившись встретиться в Византийской библиотеке школы Восточных языков, мы вспоминали с профессором Грабарем этот далекий день в Перушице. Сколько всего в жизни было с тех пор — и успехов, и достижений, и потери друзей, унесенных ранней смертью, а вот забыть эти голубые фрески на голубом нежном осеннем небе нельзя!

На рассвете Андрей Николаевич уехал, одобривши все работы. Стали собираться и мы. Сначала в Софию, потом в Париж. В последний вечер отец Василий печально стоял у камина. Глядя на наш примитивный багаж — мы почти ничего не взяли, едучи на эту работу, — он нерешительно сказал:

— Может быть вам деньги нужны на дорогу?

— Нет, спасибо...

Деньги нам нужны не были. А я подумала: «есть хоть один праведник в этом утонувшем в материальных благах, черством, себялюбивом селе»...

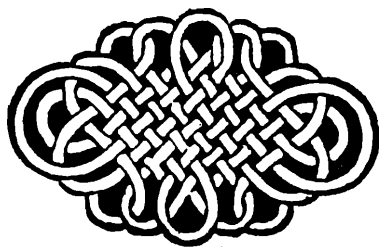
Мы покидали Болгарию, проживши в ней полтора года. В начале этого лета мы работали с мужем в окрестностях Великого-Тырнова, от одной базилики к другой, по горным тропинкам, ведя нагруженного нашим материалом осла, — впереди бежал рябой дворовый пес Шаро, приставший к нам. Это оказался наиболее практичный способ передвижения. Ночлег в палатке у источника, ослик пасся неподалеку, в небе яркие южные звезды, Шаро добросовестно сторожил. И это тоже отходило в прошлое!

В Археологическом музее в Софии нас радостно встретили. Весь состав служащих там, ученых археологов — был молодой. Отделом античности заведывала Мария Георгиевна Брычкова, болгарка, она окончила ту же Федуклеевскую гимназию в Киеве что и я, «русская воспитанница» (стипендиатка). Университет окончила в Берлине, совершенствовалась в Риме и

впоследствии совсем туда переехала. Делопроизводитель-бухгалтер музея тоже была совсем молодая женщина, Андреева, жена скульптора-художника: не все женщины в Болгарии поглощены семейным благополучием и бытом, как в Перушице. Мятлев заведывал средневековым отделом. Архитектор Рашенов, только что приехавший из Праги, вел раскопки. Покровский, из Харькова, был русским эмигрантом, еще в военной форме. Я думаю, что никому из нас не было из 25-и лет и мы жадно учились у профессора Н. П. Кондакова, показывавшего нам свою уже готовую к печати «Иконографию Пресвятой Богородицы» (в пяти томах). А Боянская церковь, около Софии, где была стенопись XIII-го века и несравненная, мной скопированная, царица Десислава, для книги Кондакова...

София двадцатых годов была и независимо от археологии симпатичнейшей балканской столицей. Небольшое светское общество пополнялось главным образом посольствами и легациями. Мы играли в теннис в дипломатическом клубе, танцевали в Cercle Interallié. Царь Борис, тоже совсем молодой, еще не женатый на итальянской принцессе Джиованне, приемов во дворце не делал, но поощрял искусство, посещал вернисажи и купил на моей выставке картину. В Национальной опере подвизались русские и даже петербургские артисты. Жаль было покидать Болгарию! Мы разлетелись все, и очень быстро, европейские столицы влекли нас. Но не забыта наша молодость в Болгарии.

Ольга де Клапье



Варшава

Июль 1944 года

Летний день казался мирным и спокойным. После нескольких лет жестокого немецкого террора и польского кровавого возмездия, Варшава притаилась. Стрельба на улицах затихла, прекратились облавы и бессудные расстрелы. Обе стороны знали, что им предстоят грозные события.

Еврейское гетто было уничтожено весной 1943 года, после упорного сопротивления его последних обитателей. Уцелевшие развалины были сравнены с землей, но вокруг их каменного кладбища жизнь бурлила по-прежнему.

Рынки были завалены снедью, доставленной мешечниками и крестьянами. Небольшие, уютные рестораны соблазняли обильным перечнем вкусных блюд. Баснословные цены росли под дождем бумажных ассигнаций. Мрачные личности, оглядываясь исподлобья, торговали на толкучках золотом и французским коньяком. Из-под полы они предлагали и оружие — бельгийские браунинги и советские автоматы.

По ночам случались грабежи. Город был наводнен ночными пропусками — настоящими и поддельными. Патрули боялись прохожих больше, чем они — немецких жандармов. Никто не знал, кто был ночью хозяином Варшавы — немцы-ли, тайные-ли польские организации или осмелевшие преступные шайки. Днем устанавливалась обманчивая тишина — та тишина, о которой говорят, что она предвещает бурю.

На Вейской улице, в нарядном доме, где один этаж был занят канцелярией и квартирой председателя Русского Комитета, это затишье сказалось сокращением потока посетителей. В приемной больше не толпились те, кто, еще недавно, прибегал к моей помощи каждый раз, когда с русским варшавянином случалась беда.

Удивителен человек... Как легко он верит шаткому благополучию... Как скоро забывает обвалы, от которых бежал накануне... Как жадно цепляется за самую зыбкую почву...

Не раз в то лето, приближавшее войну к развязке, я безуспешно пытался вразумить просителей, добивавшихся содействия в таких делах, как покупка дома или дачи, связанная с необходимостью удостоверить национальность покупателя.

Призрак легкого обогащения скрывал от них пропасть, разверзавшуюся под ногами.

Разговоры с беженцами из Ростова, Харькова или Киева, успевшими уйти оттуда при отступлении немцев, не были сложны. Одни стремились дальше, на Запад. Другие боялись Германии. Завороженные, после голодающей России, изобилием польских рынков, они хотели задержаться подольше в Кракове или Варшаве и были недовольны тем, что я настаиваю на немедленном отъезде.

Советское наступление приближалось к Бугу. Оно было достаточно красноречивым, но сослаться на него я не мог. Немцы считали сомнение в их победе преступлением, а горький опыт жалоб и доносов научил меня осторожности.

Приближение фронта беспокоило многих, но не всех русских варшавян. Одни не верили, даже тогда, в обреченность Германии. Другие, вместе с поляками, надеялись на чудо — появление английских парашютистов. Третьи утешали себя тем, что « коммунисты изменились к лучшему ». Большинство сознавало опасность, но не знало, что предпринять.

Только новые беженцы могли беспрепятственно двинуться на Запад. Остальное население было приковано к городу сложной цепью трудовых и паспортных правил. Немногие русские дельцы, разбогатевшие на войне, добывали пропуска и перебирались в Чехию. Она, почему-то, казалась им верным убежищем, но стала западней. Двое или трое сразу сделались там жертвой шантажистов, связанных с полицией. Остальные попали позже в советские сети.

Внешне, в это последнее лето германской оккупации, в варшавском Комитете ничто не изменилось. В Михалине, на восточном берегу Вислы, как и в прежние годы, был открыт летний детский лагерь. Поблизости, в Свидере, разместился эвакуированный из Бреста русский приют. На Аллее Роз, в особняке графа Тышкевича, зятя великой княгини Анастасии Николаевны, членам Комитета раздавались мука и сахар. Служащие радовались перерыву в долгом напряжении, разбирали накопившуюся переписку, приводили в порядок архив.

**
*

До войны я был управляющим делами Российского Общественного Комитета в Польше. Судьба русских варшавян стала моей заботой в тот сентябрьский день 1939 года, когда я услышал по радио распоряжение польской военной власти об оставлении столицы всеми, способными носить оружие мужчинами. Исполнение означало уход в единственном направле-

нии, еще не отрезанном стремительным немецким вторжением. Оно означало приближение к польско-советской границе, к той границе, которую большевики — как я предвидел — готовились нарушить.

За несколько лет до полета Риббентропа в Москву, эта опасность меня беспокоила. В статье, написанной для большой, консервативной польской газеты «Курьер Варшавский», сотрудником которой я был под псевдонимом Эрго, я предсказал неизбежность советского нападения на Польшу в случае польско-германской войны. Мне возразил, в той же газете, бывший начальник польского главного штаба, находившийся тогда в опале противник пилсудчиков, генерал Владислав Сикорский, впоследствии возглавивший польское зарубежное правительство в Лондоне и погибший 4 июля 1943 года в загадочной воздушной катастрофе у берегов Гибралтара. Он назвал мое мнение ошибкой и заверил, что «Россия никогда не поддержит Германию против Польши».

Я считал этот оптимизм иллюзией. В сентябре 1939 года он стал для меня очевидной ошибкой. С минуты на минуту я ждал известия о появлении советских войск на польской территории и не соблазнился предложением друзей «переждать события» в их пограничном имении на Волыни.

Распоряжение об оставлении города меня, формально, не касалось. Я был уроженцем Варшавы, но не польским гражданином, а бесподанным обладателем нансеновского паспорта. Однако, не это повлияло на мое решение. Я был готов уйти куда угодно, но только не в объятия большевиков.

Позже, недели через две, в разгар кровопролитной осады, немецкое командование согласилось выпустить из города дипломатов и других иностранцев. Под артиллерийским обстрелом, Б. С. Коверда и я пробрались с Мокотова — той окраины, где нас застала война — к вице-председателю Комитета Н. С. Кунцевичу, чтобы, вместе с ним, добиться включения русских эмигрантов в этот исход. Еще не дойдя до цели, мы поняли, что, даже в случае благоприятного ответа, непрерывная бомбардировка не позволит уведомить и собрать русских варшавян.

До разрушения электрической сети германской артиллерией и авиацией, радио было, в осажденном городе, единственным источником сведений о положении. Оно сообщило, что демаркационная линия между советской и германской зоной оккупации Польши пройдет по Висле. Это было затем изменено дополнительным соглашением Берлина с Москвой, но первоначальный раздел отдавал Прагу — восточное предместье Варшавы — большевикам.

Веселый и бесстрашный юноша, Толя Гюббенет, взялся

сообщить это настоятелю собора Св. Марии-Магдалины на Праге, протоиерею Иоанну Коваленко, Он это сделал, но предупрежденный об опасности священник ответил, что ни он, ни его прихожане не покинут во время осады храма, ставшего их убежищем.

1-го октября 1939 года немцы заняли Варшаву. Русской части генерал-губернаторства, созданного оккупантами на польской территории, не присоединенной ими к Германии, стали, временно, угрожать не коммунисты, а другие бедствия. Однако, неизбежность потрясения и даже полного крушения русской жизни в Варшаве, связанной глубокими корнями со старообрядцами, бежавшими с Руси от патриарха Никона и его нововведений, вскоре стала очевидной. В ноябре 1941 года варшавяне поняли, что Германию постигла под Москвой неудача, от которой она вряд ли оправится.

**
**

Восточный поход Гитлера стал мне казаться вероятным за несколько месяцев до его начала. Приготовления были настолько явны, что их, в Польше, видел каждый. К тому же, в январе я получил прямое подтверждение догадки.

Свидания со мной попросил человек, назвавший себя Козловским, сотрудником немецких газет. Разговор состоялся вечером, 21 января. Мы сидели в моем кабинете, в глубоких креслах, у камина. Собеседнику было, вероятно, лет сорок, но проседь в темных, взъерошенных волосах и глубокие морщины на обветренном лице старили его значительно. С первого взгляда, он показался мне не журналистом.

В те годы, каждая встреча с незнакомцем была трудной и, порой, опасной. Приходилось быть молчаливым и сдержанным. На этот раз, беседа, особенно, не клеилась. Гость задал несколько вопросов о Русском Комитете, об его работе, но выслушал ответы невнимательно. Вдруг, с оговоркой, что его словам не нужно придавать значения, что они объясняются праздным любопытством, он спросил, как отнесутся русские эмигранты к войне Германии с большевиками, если эта, совершенно неправдоподобная война когда-либо вспыхнет.

Лед был сломлен, все стало ясно. Я коротко ответил, что наше мнение зависит от Германии. Я прибавил, что нам известны взгляды фюрера, изложенные в его книге, но мы надеемся, что вождь германского народа пересмотрел то, что написал создатель национал-социалистической партии. Я сослался на мою статью в «Часовом», в которой, до войны, это было сказано подробней и отчетливей.

Козловский записал мои слова. Мы расстались так, словно говорили о погоде. Больше я его не видел, но не сомневался в связи его появления с военным замыслом Германии.

Весной в Варшаву из Брюсселя приехал В. В. Орехов. Я показал ему немецкие обозы, стоявшие биваком в центре города, на Саксонской площади. В переброску войск из Франции на отдых в Польшу никто не верил. В июле наступила развязка.

Месяца через три вернулись на побывку молодые эмигранты, ставшие в июле переводчиками германских авиационных штабов. Их рассказы о жестоком обращении с населением занятых земель, о применении расовой доктрины к русскому народу породили не только возмущение, но и опасение, что Гитлер, роя себе могилу, выроет ее и русскому населению Польши.

Осенью 1941 года бывший председатель Общественного Комитета Н. Г. Буланов и я побывали в Берлине. Нам удалось повидать д-ра Георга Лейббрандта, который, до войны, был начальником внешне-политического управления национал-социалистической партии. Меня тогда познакомил с ним один из сотрудников генерала В. В. Бискупского. Мы предполагали, что Лейббрандт — родившийся в Херсонской губернии сын немецких колонистов — понимает невозможность завоевания России и обреченность политики, направленной, одновременно, против коммунистов и против русского народа, но ошиблись. Упоенный первоначальным успехом германского оружия, он высокомерно сказал, что тревога напрасна, всё обстоит благополучно, Германия непобедима и не нуждается в подсказке.

19 ноября, вторично побывав в Берлине, я в разговоре с другими немцами сказал, что отношение национал-социалистической партии к русскому народу угрожает Германии катастрофой. На этот раз, меня слушали внимательно, записали каждое слово, но ничто не изменилось.

В марте 1943 года я написал немецкому журналисту, д-ру Грундманну, бывшему до войны польским гражданином и получившему высшее образование в Польше, что, в сознании населения занятой немецкими войсками русской территории, германский военный поход (Feldzug) стал походом разбойничьим (Raubzug). Грундманн спокойно принял это резкое определение. Оно осталось безнаказанным даже тогда, когда он отослал мое письмо в Берлин, министерству пропаганды. Очевидно, многие немцы, в то время, не исключая некоторых национал-социалистов, втайне разделяли мое мнение.

Все чаще я начал спрашивать себя, чем кончится война для русских эмигрантов, доверивших мне свою судьбу? Что

ждет их в случае всё менее вероятной победы Гитлера? Принудительное переселение куда-либо в Бургундию или Ломбардию было бы счастливой участью. Расовое помешательство сулило худшее.

— Я вас очень уважаю — сказал однажды не совсем трезвый немецкий полицейский офицер, которому я вручил одно из многих прошений Комитета об облегчении чьей-то участи, — но если фюрер прикажет, я вас, конечно, расстреляю.

Поражение Германии грозило не немецкой, но советской пулей. Головоломка была неразрешимой. Первым, из членов Комитета заговорил об этом Б. К. Постовский. Он назвал Фельдкирх, небольшой австрийский город на границе Лихтенштейна. Я тогда не предвидел, что увижу его в последние дни войны, при очень необыкновенных обстоятельствах. Меня привлекал не он, а Равенсбург, между Ульмом и Боденским озером. В мае 1944 года семейные обстоятельства дали мне случай туда съездить. Попутно, я остановился в Берлине, ради первой встречи с генералом А. А. Власовым.

* * *

Ничто, 20 июля, не отражало в Варшаве близости фронта. Днем — что случалось редко — я рано расстался с канцелярией и вышел на узкую террасу, окаймлявшую фасад моей квартиры.

Справа, над площадью Трех Крестов, плыл в воздухе серый купол костела Св. Александра, названного так в честь русского монарха. Слева, улица упиралась в Уздовский госпиталь. В 1942 году на его задворках, за колючей проволокой, в грязных и вшивых бараках, умирали от ран, голода, туберкулеза и тифа советские солдаты, искавшие спасения в плену и обреченные на безжалостное истребление.

Горсточка русских женщин, преодолев с моей помощью преграды и запреты, пошла в эти бараки. Там, пренебрегая опасностью, она кормила голодных, помогала больным, утешала умирающих и заплатила за этот подвиг двумя жизнями. В июле 1944 года, от уничтоженных бараков, на грязном пустыре, остались только поросшие бурьяном груды кирпича и досок. Бывшие жертвы этого ада, если остались живы, больше не нуждались в помощи — в чистых и сытых лагерях веял новый дух, предшественник Пражского манифеста и Русской Освободительной Армии.

Внизу, под террасой, улица была безлюдна. Тяжело ступая по тротуару, прошел пожилой немецкий ефрейтор, в ко-

ротких сапогах и мятом, поношенном обмундировании. Две женщины в платках, накинутых на плечи, остановились в подворотне, продолжая медленный, неторопливый разговор. Небо, неподвижное и бледное, слегка золотилось над крышами под еще высоким солнцем. Я вернулся в комнату и включил радио.

До войны, мой аппарат ловил не только всю Европу, но и прекрасные московские концерты. В оккупированной Варшаве, в ее тревожной обстановке, мне было не до музыки. В полдень, до завтрака, я выслушивал немецкую сводку и больше к радио не прикасался. Это было возможно потому, что подробный бюллетень московских и лондонских передач ежедневно составлялся сотрудником Комитета, опытным журналистом А. К. Свитичем.

20 июля, после долгого перерыва, захотелось услышать рояль или оркестр, но, вместо них, раздался возбужденный голос. Он говорил из Берлина о движении воинских частей, о распоряжениях какой-то новой власти.

Гитлер — мелькнула мысль — убит... В Германии началась гражданская война... Почему же так спокойна Варшава? Ведь, если это правда, здесь, вот-вот, начнется резня.

Связи с немецкой оппозицией у меня не было, но ее существование не было для меня тайной. В те майские дни, когда я, в Берлине, впервые увидел А. А. Власова, мне пришлось побывать у немца, бывшего киевлянина, связанного родством с одним из юрисконсультов варшавского Комитета. Кроме меня и этого юриста, третьим гостем, за обеденным столом, был один из бывших министров веймарской республики. Не стесняясь присутствием русских эмигрантов, встреченных впервые, он взволнованно говорил о необходимости устранить Гитлера силой.

При всем моем отрицательном отношении к поведению национал-социалистов, не только в Польше и в России, но и в самой Германии, я вернулся в Варшаву озабоченным. Переворот в Берлине — казалось мне — неизбежно станет сигналом к восстанию в захваченных немцами странах. Это было особенно несомненным в Польше, при ее ненависти к оккупантам и сильном, боеспособном подпольи. Свержение Гитлера, чем бы оно ни кончилось для Германии, означало немедленный удар поляков по немцам, прежде всего, в Варшаве. Мнимое спокойствие могло ежеминутно смениться бурей. Нужно было проверить положение. Короткий разговор по телефону дал полную картину.

— На фюрера, в ставку, — сказал немец, скрывавший, под холодной внешностью, постоянную готовность помочь эмигрантам, — было сделано покушение, но он уцелел... Заго-

ворщики пытались захватить власть в Берлине, но потерпели неудачу... В Варшаве всё спокойно...

21 июля, утром, я поехал в Брюловский дворец. Сооруженный в XVIII столетии графом Генрихом Брюлем, министром и доверенным советником короля Августа III, он был после поражения Наполеона первой резиденцией великого князя Константина Павловича в Варшаве. Независимая Польша разместила в нем министерство иностранных дел. Последний министр, полковник Бек, ценой больших затрат и перестройки, вернул обветшавшему зданию былую пышность. Немцы отдали дворец своему губернатору. Во флигеле, со стороны Вержбовой улицы, три небольшие комнаты в конце узкого коридора были отведены отделу общественного призрения и национальностей. Когда, после первоначальных колебаний и ведомственных столкновений Кракова с Берлином, граф Роникер был признан председателем Польского Попечительного Совета и было разрешено создание национальных Комитетов, их подчинили надзору этого отдела.

Его первым начальником был берлинский адвокат Ауэрсвальд, которого сменил взбалмошный баварец Гейнрих. После него, началась чехарда — фронт нуждался в пополнении и чиновники, всё чаще, становились солдатами.

Надзор — надо это признать — не был придирчивым и обременительным. Невелика была и помощь, но, в отдельных случаях, она спасала от немалых неприятностей. Так, например, Ауэрсвальд, отказав члену правления Русского Комитета Г. М. Плотникову в удостоверении об арийском происхождении, подписал, после нескольких разговоров со мной, другое, в котором было сказано, что «изучение представленных Комитетом документов не установило признаков неарийского происхождения». Трудно было добиться большего для человека, родители которого были, по нюрнбергским законам, несомненными евреями.

Летом 1944 года начальником отдела был недавно назначенный на эту должность молодой, молчаливый и очень благовоспитанный немец — фон Тротта. Я знал о нем только то, что он был, до Варшавы, начальником уезда в Коломые. Встречались мы редко — нужда в сношениях с ним была, в то лето, невелика. Дело, которое привело меня к нему 21 июля, было настолько незначительным, что я его забыл, но не стерлось в памяти неожиданное завершение разговора.

Я поднялся и хотел проститься. Удержав меня движением руки и назвав так, как это часто делали в Варшаве немцы, он спросил негромко, но отчетливо :

— Не думаете ли вы, господин фон Войцеховский, не ду-

маете ли вы, что смерть Гитлера была бы благом для Германии?

Это могло быть провокацией или доказательством необыкновенного, ничем не заслуженного доверия. Что-то в поведении, во всем облике этого немецкого чиновника исключало первое предположение. Я ответил медленно, взвешивая каждое слово :

— Думаю, что, удайся покушение, мы бы сегодня здесь не встретились.

**
*

23 июля было воскресеньем. Бюллетень А. К. Свитича показался тревожным. Советское наступление перешагнуло Буг. Московское сообщение упомянуло Седлец. Это меня взволновало. Детский лагерь в Михалине и приют в Свидере всё еще находились на правом берегу Вислы. Им угрожала опасность внезапно увидеть советские танки. Я сказал моей жене, что должен немедленно туда съездить.

С 1940 года летние лагеря Комитета и Дом Русской Молодежи в Варшаве были моим любимым детищем. Их начало было трудным — мало было средств и еще меньше опытных руководителей, да и участие детей и молодежи в лагерях было, для русских варшавян, новинкой.

До войны, в Польше, в университетских городах, существовали союзы или, по меньшей мере, кружки русских студентов, а в столице, с перебоями, и Русское Общество Молодежи, но они не имели навыка к скаутским методам общения с детьми и подростками. Попытки создания русских скаутских отрядов пресекались польским правительством, а в 1933 году оно постановило подавление всей русской жизни в стране, эмигрантской и меньшинственной.

П. А. Жирицкий, бывший, до войны, членом национального кружка русской молодежи в Лодзи и изучивший скаутизм в польской организации, получил в 1940 году согласие Комитета на создание летнего лагеря в Свидере. Этот первый лагерь был примитивен и беден. На лужайке, обрамленной лесом, его участники ночевали в шалашах и самодельных палатках, варили пищу на костре, обмывали кружки и кастрюли в мелководной речке, но погоны их защитных рубаш были украшены трехцветной ленточкой, а на мачту ежедневно поднимался русский флаг. Это привлекло внимание и помощь. Почин оказался удачным.

После него, более многолюдные и благоустроенные лагеря русской молодежи пользовались в том-же Свидере усадьбой, предоставленной А. А. Соллогубом. Скауты жили там не в па-

латках, а в неказистых, но еще крепких деревянных дачах. На спортивной площадке устраивались состязания, которыми руководил Г. М. Шульгин. По воскресеньям и праздникам, приезжавший из Варшавы священник служил литургию в беседке, переделанной в часовню. Участники лагеря слушали ее в строю, окруженные родителями и друзьями. В 1942 году, впервые, кроме варшавян, появились юноши и девушки из Радома и Ченстохова, но неприятный случай нанес лагерю непредвиденный удар.

Его начальником был тогда Б. Б. Мартино, обладавший необыкновенным умением привлечь сердца молодежи. Он был одним из членов Н. Т. С., которых эта организация переправляла из Югославии, Франции и Германии в Польшу и, оттуда, на занятую немцами русскую территорию. Вначале, это делалось под видом возвращения беженцев на Волынь и Полесье. Удостоверения Комитета, выданные этим беженцам в 1939 году, заменяли, на первых порах, пропуска. По просьбе А. Э. Вюрглера, совмещавшего принадлежность к правлению Комитета с возглавлением Н.Т.С. в Польше, я передал ему свыше 230 таких фиктивных удостоверений. Мне это тогда казалось выполнением патриотического долга.

Б. Б. Мартино, приехав из Белграда, хотел двинуться дальше, в Минск или Смоленск, но заболел. Поправившись, он занялся в Варшаве русским Домом Молодежи и преобразил его талантливым руководством. Назначение в летний лагерь было наградой за эту удачу.

В Свидере он проявил крайнюю несдержанность в столкновении с молодой участницей лагеря. Расследование показало, что на беспристрастие его политических товарищей рассчитывать не приходится. Пришлось его отстранить. Преемником его был назначен А. В. Шнее, тоже принадлежавший к Н.Т.С., но впоследствии с ним порвавший.

В 1943 году лагерь был переведен из Свидера в Михалин и из скаутского превращен в детский.

**
*

Готовность русских варшавян доверить Комитету детей в военное время налагала на меня немалую ответственность. Я помнил ее, когда, 9 июля, слушал в лагере молебен по случаю его открытия и думал о советском наступлении. Две недели спустя, возникла срочная необходимость вернуть детей в Варшаву.

Накануне А. В. Шнее сообщил, что в Михалине спокойно. Не только не было случаев возвращения участников лагеря в

город, но даже поступила просьба принять еще двух мальчиков и одну девочку. Польские партизаны, по его словам, лагерю не угрожали.

С партизанами А. В. Шнее столкнулся на третий день существования лагеря, когда он, со своим русским сослуживцем по варшавскому городскому молочному хозяйству, захотел выкупаться в Висле. Идти пришлось по песчаной тропинке, сквозь ельник, отделенный от лагеря густым кустарником. Внезапно, на повороте, раздался окрик:

— Стой..

Юноша с винтовкой на перевес показался из-за дерева. Двое других отрезали отступление. Пришлось поднять руки. Пленников обыскали и отвели на полянку, где человек, похожий на офицера, потребовал предъявления бумаг. Ему были показаны паспорта, выданные немцами населению генерал-губернаторства. Русская национальность обладателей была обозначена на обложке большой буквой. Из лесу доносились отрывистые возгласы — шло военное учение.

Вернув документы, офицер захотел узнать, что делают А. В. Шнее и его спутник в Михалине. Услышав ответ, он прекратил допрос и заговорил о вторичном, за пять лет, вторжении советских войск в Польшу. Их приближение к Варшаве его явно тревожило.

Разговор стал дружелюбным. Поручик — как называли командира партизаны — предупредил, что не отпустит пленников до окончания учения. Они вернулись в лагерь часа через три.

* * *

Обещав жене, что сообщу из Свидера по телефону, долго ли там пробуду, я, на главном варшавском вокзале, сел в дачный поезд. Он был пуст, но когда вагоны, вынырнув из подземного тунеля на железнодорожный мост, оказались над рекой, я увидел, что ее берега, давно ставшие безлюдными, усыпаны, как разноцветным бисером, яркими пятнами купальных костюмов. Не сотни, а тысячи варшавян грелись на песке или плескались в Висле. В их мнении, дни оккупации были, очевидно, сочтены, но это мнимое спокойствие меня не обмануло. Оно не ослабило тревоги, вызвавшей поездку.

Приют — ее первая цель — был создан в Брест-Литовске, летом 1941 года, самоотверженной русской женщиной для брошенных на произвол судьбы детей убитых или бежавших советских офицеров и служащих. Не знаю, сколько их было первоначально, но больше 70-ти было эвакуировано ранней

весной 1944 года в генерал-губернаторство и оказалось на попечении Комитета.

А. В. Шнее хотел воспользоваться близостью Свидера к Михалину, чтобы приобщить приют к жизни лагеря, но это ему не удалось. Приютские дети отличались от варшавян не только внешностью — однообразной одеждой и наголо остриженными головами мальчиков — но и молчаливостью, скрытностью. Старшие, иногда, вспоминали родителей. Случайно, я в этом убедился.

Вскоре после отъезда приюта из Бреста, мне пришлось побывать в небольшом польском городе, где была оставлена девочка лет десяти, заболевшая в пути и отданная на попечение местных русских старожилов. Войдя в их дом, я, в передней, положил на стол оружие, с которым, в те опасные годы, не расставался. Увидев мой семизарядный вальтер, девочка, вероятно, вспомнила отца и воскликнула восторженно и радостно :

— Наган...

**
*

Основательница приюта сидела на террасе, за накрытым столом. Она пила чай с архимандритом Мстиславом, приезжавшим по воскресеньям в Свидер для богослужений. Он был членом комитетской делегации в Жидардове, называл себя антикоммунистом и, в дни наибольшего успеха Германии, упорно, хоть и неудачно, добивался епископской кафедры в Крыму. После войны, он кончил тем, что перебежал в Берлине из западной зоны в советскую, признал московскую патриархию и получил от нее желанный сан.

Прервав чаепитие, я сказал, что передовые советские части достигли Седлеца и, поэтому, нельзя медлить тем, кто не хочет с ними встретиться. Архимандрит вскочил и скрылся, не простившись. Начальница приюта, спокойно и твердо, ответила, что предпочитает остаться в Свидере. Это, может быть, — прибавила она, — поможет детям найти родителей, да и двигаться приюту некуда.

Времени на спор не было, да я и не хотел спорить. Доводы были убедительны. Всё же, сердце сжалось, когда, сойдя с террасы в большой, запущенный сад, я увидел ребят, празднично одетых в белые блузы и синие юбочки или штанишки. Одни — пугливо, другие — равнодушно смотрели на меня, но две-три девочки подбежали и прижались к моим рукам, в надежде на привет и ласку. Я погладил их русые головки, и не оглядываясь, вышел за калитку.

**
*

Нужно было исполнить обещание, данное жене. Я хотел сказать по телефону, из усадьбы знакомых, живших летом в Свиdere, что побывал в приюте, поеду в лагерь и вернусь не скоро, но она меня перебила :

— Знаешь ли ты, что немцы увозят семьи из Варшавы? У нас побывал Б. К. Постовский. Он привез мне и дочери пропуск в Равенсбург. Поезд отойдет в два часа, с восточного вокзала. Что ты мне посоветуешь? На всякий случай, я собрала вещи, но ждала твоего звонка...

— Уезжайте, — ответил я, — даст Бог, увидимся.

Я не мог вернуться в город, не позаботившись о лагере. Ничто меня к этому не принуждало, кроме воспитания, с детства готовившего к службе государству. Я был школьником, когда рухнула империя, но в эмиграции возник новый, общественный долг. Комитет был, для русских варшавян, единственным заступником и прибежищем. Я не мог обмануть их доверие.

Сказав жене еще несколько слов, я прервал разговор и вызвал к телефону А. В. Шнее. Я приказал немедленно закрыть лагерь, сдать детей тем родителям, которые на воскресенье приехали в Михалин, а остальных перевезти в городской Дом Молодежи. Я предупредил, что дождусь на станции в Свиdere известия об исполнении этого распоряжения.

**
*

На пероне, в неурочный час, толпа дачников ждала поезда в город. Она казалась спокойной, но, конечно, знала, что эвакуация немцев из Варшавы началась. События придвинулись вплотную. Красноречивым доказательством были плакаты, прибитые к деревьям, у самой станции, — польский Белый Орел поднимал на них свои крылья на малиновом щите.

Одиноким всадник выехал из лесу, взглянул на толпу, круто повернул и ускакал по дороге, в сторону Михалина. Партизаны — мелькнула мысль — прислали разведчика.

Первый поезд ушел — пришлось его пропустить. Наконец, появился А. В. Шнее.

— Ваши указания — доложил он — исполнены. Дети идут из лагеря пешком, но удалось раздобыть подводы для перевозки их вещей.

Погрузка прошла благополучно. Дома я застал тишину. Канцелярия, ради праздника, была закрыта. У входных дверей, в маленькой комнате, дремал дежурный. Домоправительница, пожилая женщина, знавшая пять поколений моей семьи, взволнованно сообщила, что жена и дочь уехали на вокзал.

Тесть, старый генерал, вернувшийся из дальней церкви, их уже не застал.

**
*

В том же вагоне, что и моя семья, из Варшавы уехала девочка, которую те, кто знал ее тогда, называли Лялей Егоровой. Нельзя говорить о ней, не сказав, предварительно, несколько слов о Б. К. Постовском.

Он был сыном сенатора, мимолетно побывавшего министром юстиции в бурные дни 1905 года. Воспитывался он в Петербурге, в Училище Правоведения, но, почему-то, ушел из него на юридический факультет, был в первую мировую войну уполномоченным Красного Креста в санитарном поезде.

После революции, его имение оказалось в Польше, на Полесьи. Он в нем не жил, а занялся экспортом изделий польских и карпатских кустарей, преуспел на этом поприще, был даже правительственным комиссаром польского павильона на международной выставке. В 1940 году, при создании Русского Комитета, его выдвинул в правление кружок сравнительно молодых людей, к которому мое сердце не лежало. Предчувствие было верным — возглавители этого кружка, Д. Д. Шумилин и В. В. Макшеев, стали, после поражения Германии, сотрудниками специфических учреждений коммунистической Польши. На Б. К. Постовского это тени не бросает — до своей смерти он остался антикоммунистом.

Главной чертой его характера была независимость. Он не умел и не хотел замкнуться в рамки какой либо дисциплины. Это не раз приводило к столкновениям между ним и теми членами правления, компетенцию которых он нарушал своим вмешательством. Мне приходилось улаживать споры и закрывать глаза на то, что он, в присутствии членов и служащих Комитета, отзывался критически и обо мне.

Я ценил его активность, полезную русским варшавянам. Он не ограничивал участие в жизни Комитета отведенными ему по уставу рамками возглавителя торгово-промышленного отдела, ведавшего помощью русским предприятиям, но охотно брался за любое живое и нужное дело. Он был особенно полезен Комитету в сношениях с немецкими учреждениями — низкопоклонством не страдал и никогда, в разговоре с иностранцами, не унижал русского достоинства. Его настойчивость помогла мне наладить помощь советским военнопленным в Уздовском госпитале. Он же создал в Варшаве русскую общину сестер милосердия, заботившихся, в немецких лазаретах, о т. н. восточных добровольцах.

Неоднократно, он обращался ко мне с просьбой о помощи тому или иному эмигранту. Всё же, я удивился, когда летом 1943 года, он попросил меня подписать удостоверение девочки, которую назвал Еленой Егоровой, дочерью пропавшего без вести офицера. Ею — по его словам — занялась хорошо мне известная русская варшавянка.

Просьба была незначительной, но, именно поэтому, странной. Удостоверения о принадлежности к русской национальности, спасавшие, в то время, от многих житейских неудобств, выдавались главной канцелярией Комитета на Аллее Роз и подписывались не мною, а Н. С. Кунцевичем. Мне докладывались только редкие, сомнительные случаи. Б. К. Постовский хотел обойти установленный порядок. Это мне не понравилось. Я сказал, что хочу увидеть ребенка.

* * *

Дня через два в мой кабинет вошла с Б. К. Постовским девочка, которой — по данным анкеты — было десять лет. Она казалась старше и была тщательно, слишком нарядно одета. Мало кто, тогда, так одевал в Варшаве детей.

Светлая соломенная шляпа была украшена бархатной лентой. Из под шляпы волной ложились на плечи темные кудри. Матросская блуза и очень короткая юбка не вязались с ростом и сложением, но красивое, спокойное лицо казалось детским. Всё доказывало чей-то заботливый уход.

Б. К. Постовский, по обыкновению, был словоохотлив. Девочка, остановившись у дверей, молчала. Я взглянул на нее, не сказал ни слова, нажал кнопку звонка на письменном столе. Откликнулся секретарь. Я передал ему анкету — Елена Егорова была в ней названа дочерью русского и грузинки — и распорядился приготовить удостоверение. Подписав его, я подверг не только себя, но и мою семью, смертельной опасности, угрожавшей, в оккупированной Польше, каждому, кто, хоть косвенно, участвовал в укрывательстве евреев, но мог ли я отказать в помощи ребенку? Я подчинился одному из тех душевных побуждений, которые сильнее осторожного расчета.

* * *

Правду о Ляле мне, значительно позже, рассказала та дама, которая заботилась о ней в Варшаве. Трагически лишившись сына, считавшего себя поляком и погибшего в немецком лагере, она помогла не только этой девочке. Назвать ее я не могу — она не хочет славы и награды. Поэтому, она не назва-

на в книге об еврейских детях, уцелевших от великого погрома, но Ляля в ней упомянута.

Она родилась в 1929 году. Первое впечатление меня не обмануло — Б. К. Постовский омолодил ее в анкете на четыре года. Звали ее, в действительности, Геней Розенманн. Родители погибли в Белостоке, вскоре после его захвата немцами. Дедушка и бабушка попали в гетто, и разделили их участь.

Из гетто Ляля — как ее и теперь называют варшавяне — выбралась с теткой, сестрой своей матери, и с ее семьей. Беглецы пробрались в Варшаву. Тетка, ее муж и 8-милетняя дочь были расстреляны 13 мая 1942 года. Их выдал поляк, обещавший найти квартиру и получивший за это деньги. Лялю — за несколько дней до гибели ее близких — спасла готовность русской женщины ее приютить.

С этой дамой она 3 июля 1944 г. благополучно доехала из Варшавы в Равенсбург. Там, три года, она принадлежала к собравшейся в этом городе многолюдной русской колонии. В Израиле, куда она оттуда переехала, где вышла замуж и создала счастливую семью, бывшая Ляля Егорова не забыла своих русских друзей.

(Окончание следует)

С. Л. Войцеховский



Политические талмудисты

25 ноября 1969 года наконец открылся в Кремле Третий Съезд колхозников.

Обращение к съезду ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, напечатанное в «Правде» от 26 ноября 1969 года, указывает на основную задачу съезда: власть «призывает колхозников, всех тружеников села полнее с наибольшей отдачей использовать новые возможности и огромные резервы, таящиеся в недрах колхозного производства»...

Следует помнить, что «резервы» в советском понимании — не запасы, а упущения. А эпитет «огромные» применяется к ним едва ли не в первый раз на страницах партийной печати.

На съезд прибыл 4521 депутат, между ними поименно названные члены ЦК КПСС, затем «секретари ЦК партии республик, областных и краевых комитетов партии, секретари райкомов партии и первичных парторганизаций колхозов, Председатели Советов министров республик, министры сельского хозяйства, председатели облисполкомов и крайисполкомов»...

В президиуме, между прочим, заседал такой общеизвестный колхозник как Ю. В. Антропов.

Несмотря на то, что в предсъездовские дни очень много писалось о принятии нового колхозного устава, о нем-то меньше всего было речи, по крайней мере в первый день съезда.

Открыл его сам Брежнев речью, фактическая часть которой состояла из перечисления «резервов» колхозного строя. Но во вступительной части, вопреки партийным канонам, оратор после нескольких фраз перешел к обороне.

«В процессе колхозного строительства мы не избежали известных ошибок (семь миллионов погибших от голода только на Украине — «ошибка» — Б. С.). Но это были ошибки поиска, ошибки из-за отсутствия опыта. Партия сама смело вскрывала ошибки, открыто говорила о них народу и исправляла их» (настолько «открыто», что за пределами Украины, например, население ничего не знало о том, как там проходит коллективизация).

«В оценке колхозного строя коммунистическая партия и

советский народ едины... Колхозный строй — это наше великое историческое завоевание » (« Бурные аплодисменты »).

Несколько следующих абзацев сказаны в самой лучшей манере ортодоксальной пропаганды, образец которой предлагаем :

« Колхоз избавил крестьянина от тяжелого прошлого, дал ему прочное место в жизни, сделал хозяином своей судьбы... »

И далее :

« Буржуазные политики и псевдотеоретики не перестают клеветать на колхозный строй, всячески восхваляя частное предпринимательство. Но как бы ни ухищрялись буржуазные пропагандисты, им не скрыть чудовищной экспроприации, обнищания и разорения миллионов крестьянских и фермерских хозяйств в странах капитала ».

Нужно сказать, что нынешнее коллективное правление принесло в партийно-советскую практику нечто новое. Когда начинают говорить о настроениях, суждениях, возникающих в стране и « несозвучных » с учением партии, то вот именно к такому обороту речи и прибегают : мол, это не у нас, это — « буржуазные пропагандисты ».

Процитирован Ленин с указанием тома и страницы, о том, что « капитализм повышает технику земледелия и ведет его вперед, но не может делать этого иначе, как разоряя, принижая и давя массу мелких производителей ».

« Вот лишь некоторые факты на этот счет. В США, например, за последние 18 лет разорено 2 миллиона 600 тысяч хозяйств, или 46 процентов всех фермерских хозяйств страны... Не такой ли доли желают нашему крестьянству буржуазные пропагандисты? »

Какой доли желают нашему крестьянству буржуазные пропагандисты, мы сказать затрудняемся, но что наше крестьянство несомненно предпочло бы продавать оставшимся 54 процентам неразоренных американских фермеров пшеницу, вместо того, чтобы годами ее у них покупать, — не подлежит сомнению.

Уничтожив этим сокрушительным ударом все происки буржуазии, Брежнев переходит к описанию намерений и достижений партии.

Говоря о « конкретных задачах в области сельского хозяйства на современном этапе », генсек заявил :

« Мы стремимся к тому, чтобы в политике партии правильно сочетались интересы государства, всего нашего общества с интересами колхозов и колхозников ».

Хорошо, но только бы не возвратилась уже известная колхозникам практика, по которой все, что привозилось в село на

продажу — от машин до спичек — продавалось в колхозах по повышенным ценам. Об этом мы писали в свое время.

« Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства за 1965-1968 года — продолжал оратор — увеличился по сравнению с предыдущим четырехлетием на 18 процентов, производство зерна — на 15 процентов, молока — на 24, мяса — на 20, хлопка-сырца — на 22, сахарной свеклы — на 47, подсолнечника — на 25 процентов. Я назвал наиболее важную продукцию ».

« Потребление мяса на душу населения в 1969 году, по сравнению с 1964, увеличится (но еще не увеличилось. — Б. С.) на 8 килограммов, молока — на 50 килограммов, яиц — на 36 штук ».

Нужно сказать, что положение оратора при перечислении достигнутых успехов было не очень завидным: ни одной абсолютной цифры. Может быть, именно потому он и закончил очень тонкой юмористической ноткой о добавочных 36 яйцах в год!?

Эта мысль напрашивается тем более, что тут же дается весьма солидная абсолютная цифра капиталовложений:

« В минувшем году она уже превысила 40 миллиардов рублей »...

« Широкое внедрение науки и техники в сельскохозяйственное производство меняет характер труда колхозников, создает возможности для их профессионального роста. Сейчас в колхозах насчитывается свыше 2 миллионов механизаторов, около 330 тысяч специалистов с высшим и средним образованием... »

И 36 яиц в год! Чем же это объяснить? Опечатки быть не может, когда печатаются речи таких « высокостоящих » товарищей.

В самом начале третьего раздела своего выступления генсек заявляет:

« Нужны конкретные дела по выполнению планов в каждой республике, крае и области, в каждом колхозе и совхозе, во всех центральных органах и министерствах. Это одно из важнейших условий дальнейшего подъема сельского хозяйства ».

И вслед за этим:

« На необходимость всенародной борьбы за повышение культуры земледелия, организации систематической работы по защите почв от эрозии и достижении на этой основе высоких и устойчивых урожаев неоднократно указывалось в партийных и правительственных документах, а также в законе о земле... »

Замечено, что в случаях, когда партия не находит больше сил справиться с положением, она заявляет, что это « всенародное дело »! Жаль только, что это дело пытаются осуществлять под политическим надзором и по политическим правилам.

Результат — неизбывные, самые разнообразные недостатки в так организованном хозяйстве. Ими заполнен почти весь третий раздел речи.

Они повторяются без конца. Перечислять их нет нужды. Только под конец этого раздела, а вместе с ним и всей речи, читаем новую мысль.

« В ходе обсуждения проекта нового Примерного Устава высказывались также пожелания о создании снизу доверху выборных Советов колхозов в целях дальнейшего развития колхозной демократии, коллективного обсуждения наиболее важных вопросов их деятельности, обобщения опыта организации производства и выработки рекомендаций по более полному использованию резервов роста общественного хозяйства ».

« ...Если Съезд признает целесообразным создание таких советов, можно бы было здесь же избрать Союзный совет колхозов ».

В практике компартии не было еще ни одного случая, чтобы собранные на совещание или съезд люди не приняли того, что предлагают свыше. Так это получилось и теперь. Совет был избран. В составе 125 человек. С председателем В. В. Мацкевичем, министром сельского хозяйства СССР.

28-го, т. е. в последний день заседаний съезда, уже состоялось и первое заседание этого совета. Значит, как и всегда, всё было заранее и предreshено, и подготовлено. На хлеборобов наложена еще одна политическая уздечка.

На заседаниях съезда был выпущен с докладом о новом примерном уставе колхоза Д. С. Полянский, который не обмолвился ни одним новым словом или мыслью, а потому говорить о его выступлении нет надобности.

Несколько загадочно то, что и генсек, и Полянский, фотографиями которых сопровождаются тексты их выступлений, поданы после весьма основательной ретуши. Теперь это совсем комсомольцы, правда, старшего возраста.

Обстоятельство это наводит на размышления в связи с каким-то для партийного вождя мало свойственным тоном и стилем речи, какой-то скомканностью ее.

Понять это не трудно. Перед устроителями съезда стояла очень трудно выполняемая задача. Страну нужно кормить, но одновременно необходимо сохранить и чистоту партийных риз. Но об этом несколько ниже.

На съезде больше всего говорилось об интенсивном сельском хозяйстве — не было уже и помину о целине. Вторая (не по значению, а по счету) тема это — участие молодежи, комсомола в колхозной жизни.

Под средствами интенсивного хлебопашества всегда подразумевалась техника, химизация, мелиорация. Вспоминалось, правда, и об улучшенной организации сельско-хозяйственных работ, но смутно и редко.

На съезде присутствовали и гости : достаточно экзотические — например, из Гвинейской республики, Сирийской, Суданской, из Ирана, но был и «член руководства Итальянской партии», а также представитель Объединенной Арабской республики, «генеральный директор департамента генеральной инспекции министерства сельского хозяйства».

От последнего, как и от всех остальных приглашенных, ожидалось славословие в адрес советского коллективного хозяйства. Но «генеральный директор» очень дипломатично обошел эту тему стороной, сосредоточив свои благодарения на «бескорыстной помощи, оказанной... в борьбе против колониализма, империализма и сионизма».

Остальные приглашенные не преминули ответить в желательном духе, оплачивая нужным образом свое приглашение.

«Правда» предсъездовские дни употребила на пропаганду колхозной системы («Столбовая дорога крестьянства») и Ленина, который сказал : «Заинтересовать надо крестьянство. Иначе не выйдет... Сельское хозяйство из-под палки вести нельзя».

Спору нет. Золотые слова. Но как может их доводить до общего сведения Партия? Да еще непосредственно колхозникам? Как будто эти последние не знают, не видят, не понимают, к чему сводится колхозное хозяйство? Напечатано это было в самый день открытия съезда, 25 ноября.

В тот же день та же «Правда» уделила место писательскому произведению Михаила Алексеева, из которого не плохо привести следующее место : ...«— есть, Мишуха, у нас теперь своя земля. И дали нам ее бесплатно! — говорил дед тихо, но торжественно. — Кто же ее дал нам, деда? После минутного раздумья дед говорил взволнованно : Ленин...»

Какими личными способностями нужно располагать или как оценивать своих читателей, чтобы тревожить такие давние воспоминания, тем более, что по докладу мандатной комиссии в съезде принимало активное участие всего 700 человек моложе 30 лет, на общее число делегатов в 4500 (округло). Следовательно, остальные были старше и им-то особенно хорошо известно : как Ленин «дал» землю, и что из этого сделал Ста-

лин. А сталинские порядки в сельском хозяйстве и до сих пор не изменились

Впрочем, партийное возглавление не обошлось без того, что на его же языке называется очковтирательством.

Перечисляя достижения, Брежнев назвал и Каховскую ГЭС. А вот что об этой плотине пишет Владимир Чивилихин в очерке « Земля в беде » (« Москва » 2/68, стр. 171) :

« Вообразите себе большой колхозный сад, вступивший в пору наивысшего плодоношения. Идет весна, сад буйно цветет, но это его последнее цветение — под самые нижние ветки яблонь, вишен и слив подступила вода. И эту беду отвести тоже невозможно. Правда, за селом Чернянка построили станцию перекачки. Прорыли понизительную систему, проложили трубы большого диаметра, круглосуточно качают воду в канал, но она не убывает. В Чернянке народ шутит : « Що дурный робить? Ситом воду носить ».

« Едем дальше. Меж пологих холмов то тут, то там, поблескивают воды, затопившие пашни, пастбища, огороды. А вот залило село. Его только что бросили жители. Глубокая вода стоит на бывших улицах, во дворах, в хатах... Плотина Каховской ГЭС, создав подпор, не существовавший раньше, вынудила фильтроваться воду через известняк и песчаные грунты. Сейчас воды Каховского моря подтапливают земли, расположенные в районе Больших Копаней за сотню километров от плотины и никто не знает, сколько еще пашен погибнет от этой беды... И почти всюду мы без удержу распускаем воды выше плотин, потом даже похвальноемся размерами водохранилищ, забывая о том, что губим... »

« ...Затопление Конских плавней было предусмотрено проектом, хотя в свое время ученые настойчиво предлагали обваловать водохранилище, чтобы спасти плавни... Крестьяне, ученые, инженеры, партийные и советские работники, живущие в районе Каховской ГЭС, прямо и недвусмысленно говорят о том, что сейчас необходимо просчитать все выгоды и невыгоды этого сооружения... »

Но что значит « говорят »?! Партия работает « на строго научных и демократических основах ». Пусть говорят!

Для такого огромного сельского хозяйства, как советское, одного примера, из одной области, конечно, недостаточно для того, чтобы сделать обобщение. Но вот « Комсомольская правда » от 15 октября 1969 года поместила репортаж из Казахстана, котрый заканчивается следующим образом :

« В эти дни с тревогой вслушиваюсь в очередную сводку погоды; в целинных областях дожди,... в одном из районов Целиноградской области выпал снег.

« Значит, стоят комбайны, автомобили. Замер, остановившись на ходу, огромный механизм жатвы. А еще лежат на полях валки, еще стоят на полях нескошенные хлеба »...

О зерне, уходящем на полях под снег, не приходилось читать уже несколько лет. И урожай, по советским же данным, не слишком хороший, и партия в самом начале уборки вынесла нескрываемо-паническое постановление о мобилизации всего промышленного транспорта на его уборку, и рабочих забрали с городских предприятий, отправив их в колхозы и совхозы на уборку. А урожай, оказывается, не убран до конца.

Еще раз возвратимся к числу делегатов моложе 30-летнего возраста. 300 человек комсомольцев из их общего числа в 700 человек — необычайно мало. Чем объяснить это явление? Тем ли, что и комсомольцы ушли из сельского хозяйства, или тем, что уже прошли времена, когда беспартийная молодежь боялась отказывать комсомолу в послушании?!

**
*

Партия всё время своего властвования обременена одной и той же заботой — кричать о своих достижениях, скрывая постоянные и весьма разнообразные неудачи. Следует признать, что в этом деле она очень сильно набила себе руку. « Комсомольская правда » от 2 декабря 1969 года на самом видном месте, в рамке, жирным шрифтом, под драматическим заголовком « Тебе присягаем, земля! » старается показать, как молодежь стремится изо всех сил довести работу в колхозах до совершенства. А между тем сам генсек говорит — газета цитирует его слова :

« Надо добиться такого положения, чтобы техника не стояла в ожидании кадров (значит, этих кадров нет? — Б. С.), чтобы дело химизации и мелиорации земель находилось в руках подготовленных людей » (но ведь « кадры » всегда распределяет сама партия!).

И несколько ранее : « Важно, чтобы каждый молодой человек, живущий на селе, чувствовал личную ответственность за положение дел в своем хозяйстве, за подъем культуры села ».

Однако, « культуру » на селе насаждают избачи, затейники, завклубами и прочие ставленники партии. Что же они тогда будут делать?

А редакционная статья продолжает :

« Огромное и бесценное богатство получает молодежь села из рук старших поколений. Она наследует замечательные победы колхозного строя и высокую преданность родной земле,

право приумножать всенародное богатство, участвовать в коренном преобразовании сельскохозяйственного производства, всего уклада сельской жизни ».

Эта весьма напыщенная фраза нуждается в разъяснении, не столь превыспренними словами, но имеющими определенное содержание.

Уже 4 декабря 1969 г. мы получили частичное разъяснение относительно того, что подлежит « коренному преобразованию » в сельском хозяйстве. И сомневаться не приходится : разъяснение дала сама « Правда ».

В ней пишет академик А. Бараев, тот самый, что получил известность во время хрущевской авантюры с целинными землями. Его статья, озаглавленная « Поздняя жатва », начинается словами :

« Необычной оказалась нынешняя страда на целинных землях Казахстана. Уже стоял ноябрь, перепадал снег, а на полях многих совхозов и колхозов еще работали комбайны, по дорогам шли автомашины с зерном. Уборка была крайне тяжелой. Хотя целинники дали государству большое количество хлеба, часть урожая осталась необранной. Нелегкой была жатва и в Западной Сибири и на Урале.

« В чем же дело? Почему здесь запоздали с уборкой?

« Конечно, было немало организационных неполадок. Но главное всё же не в этом. Подвела погода... »

Когда в советской печати сказано « немало », это значит — много.

30 ноября 1969 года « Правда » опубликовала « примерный устав колхоза ».

Анализировать его, по-видимому, еще преждевременно. Дело в том, что многие серьезные вопросы колхозной жизни регулируются « Правилами внутреннего распорядка », которые до сих пор и не обсуждались в печати, и содержание которых даже в пересказе еще не было опубликовано. А между тем совсем не исключено, что как раз в этих Правилах сказано, как именно и что именно партия контролирует в жизни сельского хозяйства.

До сих пор по этому поводу царит весьма загадочное и почти полное молчание, и в законе о земле, и в примерном колхозном уставе.

Предполагать, что партия так-таки и отказалась совершенно от влияния и контролирования кормления из своих рук всего населения страны, и партийного, и беспартийного, — было бы более чем легкомысленно. Следовательно, необходимо запастись терпением и выжидать появления соответствующих

материалов или в партийной прессе, или в партийной же литературе.

Но уже необходимо отметить весьма существенный сдвиг в отношении к сельскому хозяйству, обозначающий ослабление в нем партийного зажима. Понятия « колхоз », « совхоз » теперь превратились в дымовую завесу, под защитой которой идет это ослабление. Они постепенно начали уже превращаться в фикции.

Здесь мы подошли к очень любопытному вольту — нельзя найти более верного определения того, что проделывает партия по вопросу сельского хозяйства.

Уже за многие десятилетия она должна была убедиться в том, что коллективное сельское хозяйство — неосуществимая утопия.

Но пропагандные широковещательные обязательства, скрепленные без особых оснований именем Ленина вынуждают ее цепляться за эту соломинку, на которой партия может еще как-то обосновывать свои претензии. И вот мы стали свидетелями явления, которое было бы очень легко квалифицировать, если бы оно относилось к карточной игре.

Самый официальный источник — « Правда », за все десять лет, в течение которых ведется эта политическая игра, только скупое и редко и лишь за последнее время упоминала о том, что колхозную систему следует основательно перестраивать, в то время как « Комсомольская правда » по тому же вопросу опубликовала целую серию солидных статей и материалов, доказывающих необходимость этих изменений. Своевременно мы писали о том, что в « Комсомольской правде » было напечатано невероятное сообщение о колхозниках думающих о « юридическом закреплении земли за теми, кто ее обрабатывают », но не за колхозами, как это для формы практикуется теперь.

Как объяснить то, на первый взгляд непонятное явление, что « Правда » и « Комсомольская правда » якобы стоят на разных позициях? Это конечно не так. Просто каждая из партийных газет играет свою роль.

« Правда » опубликовала « Примерный устав колхоза » через два дня после закрытия съезда колхозников. Примечательно, что на съезде Полянский, которому было поручено сообщение об этом уставе, говорил так хорошо, что никак нельзя было составить себе хотя бы общего представления о нем. Все сводилось только к превознесению и восхвалению этого последнего партийного достижения. Как стало очевидным теперь, — необходимо было самое важное сообщение о том, что партия по существу приступает к дроблению колхозов на единицы бо-

лее мелкие, отсрочить до той поры, когда делегаты разъедутся по местам.

Сегодня из всего устава остановимся на некоторых частях раздела VI.

Последний абзац 24 пункта гласит : « Колхоз внедряет научную организацию труда, проявляет заботу о полном и наиболее рациональном использовании рабочей силы в общественном производстве ».

Полное значение этой фразы мы увидим немного позже.

В пункте 26 того же раздела уже больше информации.

« Формы организации производства и труда — участки, фермы, бригады, звенья и другие производственные подразделения устанавливаются и применяются колхозом в зависимости от конкретных условий хозяйства и уровня механизации, специализации и технологии производства.

« В состав производственных подразделений колхозники подбираются исходя из интересов развития общественного хозяйства и с учетом квалификации, опыта работы, навыков, места жительства, личного желания.

« За производственными подразделениями колхоза закрепляются земельные участки, тракторы, машины и инвентарь, рабочий и продуктивный скот, необходимые постройки и другие средства производства ».

Все это дает весьма общее представление о том, во что должны вылиться эти « производственные подразделения », но и теперь уже чувствуется, что в разработке « устава » принимали активное участие не только « политики », но и агротехники.

Соответствующие материалы « Комсомольской правды », к изложению которых мы подходим, дадут нам об этом уже более ясное представление.

Полустолетние испытания, которым партия подвергла крестьянство, помогли этому последнему найти способ сбросить со своих плеч хозяйскую заботу политических руководителей. Способ, против которого бессильны все НКВД и КГБ со всеми своими концлагерями, спец-отрядами и оперуполномоченными, это — пассивное сопротивление.

И борьба со всеми партийными ухищрениями оказалась до смешного простой. — « Есть хотите? » — так не мешайте нам хлебопашествовать.

Название нашей статьи имеет в виду тех талмудистов, которые вынуждены с этим считаться и одновременно не желают в этом признаться, а потому ищут обходных путей и решений.

Для экономии времени и места мы рассмотрим одновремен-

но три статьи « Комсомольской правды », написанные на одну и ту же тему : в номере от 11 ноября 1969 г. — « Поле и совесть », с подзаголовком : « колхоз, его закон, его биография »; 15 ноября — « Трудиться лучше на каждом гектаре »; и 21 ноября — « Ответственность земледельца » с подзаголовком — « Ленинский урок ».

Заслуживает внимания и партийное положение авторов. Первый из них — « первый секретарь Миллеровского района Ростовской области », второй — рангом повыше : секретарь ЦК ВЛКСМ В. Т. Дувакин, третий — уже совсем « высокостоящий товарищ » Б. Ручкин, аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС, в соавторстве с двумя спецкорами газеты.

Следовательно, сделано всё, чтобы удостоверить читателю, что в изложенном нет никакой партийной ереси : всё строго по Ленину, всё апробировано партийной верхушкой, и только для сведения и исполнения сообщается окольными путями, минуя съезд колхозников и главный партийный орган. Вместе с тем сообщается это за подписями лиц, так сказать, официозных, от мнения которых правительство может при случае и отказаться.

Довольно продолжительное время « Комсомольская правда » не проронила ни звука о безнарядных звеньях. На фоне усиливавшегося партийного зажима казалось, что догматикам удалось окончательно похоронить идею обновления сельского хозяйства. Не исключается, конечно, что и вокруг этой реформы всё это время шла внутрипартийная борьба.

Первая названная нами статья, « Поле и совесть », с первых же слов настраивает нас на такое именно объяснение обстановки, в которой проходили последние приготовления и к съезду, и к публикации этих статей.

« Приближается важнейшее событие : третий Всесоюзный съезд колхозников. Как известно, на нем будет утвержден новый Устав сельхозартели. Во время обсуждения его проекта многие молодые колхозники обращали внимание на необходимость совершенствовать организацию труда, интересовались опытом Героя Социалистического труда В. Я. Первицкого.

« В этой связи хотелось бы услышать от Вас, Лев Андреевич, что побудило райком партии всецело поддержать и потом широко пропагандировать безнарядно-звеньевую систему организации и оплаты труда не только в каком либо отдельном хозяйстве, но и во всем районе ».

В свое время мы писали о « Ленинском уроке », как было названо совещание восьмидесяти слишком его участников на Кубани, по поводу опытов, поставленных Первицким. Сообщение о нем вызвало невиданную до тех пор в СССР сенсацию. Да иначе быть и не могло. Первицкий говорил о сель-

ских работах без вмешательства и команды партийного начальства, в земледелии мало или вовсе ничего не понимающего, о том, как легко и приятно работается без бригадирского надзора и начальственного недоверия на каждом шагу, и о тех конечных результатах звеньевой обработки земли, которых в колхозном хозяйстве не только не видели, но и не слышали.

О взрыве совершенно новых настроений можно судить уже по одному тому, что там же раздались голоса за добровольную организацию звеньев в составе нескольких семейств. Больше того, нашлись смельчаки, потребовавшие юридического закрепления земли за обрабатывающими ее, так как закрепление за колхозами — фикция.

Безнарядная звеньевая, хозрасчетная обработка земли вынесла очень тяжелую борьбу с правоверными догматиками и сдала самый скрупулезный экзамен. Борьба еще далеко не закончена и будет продолжаться, но самый трудный, первый шаг сделан.

Чтобы сделать его понадобилось целых десять лет. По-видимому, эта борьба уже и опрашиваемому секретарю въелась под кожу, так как он говорит :

« Что я имею в виду прежде всего? Опыт Первицкого. На его полях за десять лет побывало много « экскурсантов »... Был и наш Иван Федосеевич. Он-то вместе со своим звеном механизаторов и преподавал нам всем урок *разумного хозяйствования* ».

В условиях коммунистической демократии, это заявление звучит дерзостно.

« И действительно, чем еще можно объяснить тот факт, что кукуруза на зерно, например, дала в звене по 40 центнеров с га., а рядом по 15, озимой пшеницы звено собрало почти по 26 центнеров, а соседи — по 15-17 центнеров. И так далее. Не считаться с такими цифрами было нельзя. Тем более, что погода была на всех одна и земли — одинаковыми ».

Эти десять лет понадобились звеньям, чтобы проложить себе дорогу, из-за того вмешательства партийного начальства, везде и всегда желающего играть первую скрипку, которое отметалось еще на « Ленинском уроке ».

« Помню, начали организовывать монокультурные звенья. Система оплаты труда и материальной заинтересованности усложнялась, село лихорадили многочисленные реорганизации. Звенья распадались и вновь создавались... Так и развалились у нас пять лет тому назад 119 механизированных звеньев, большинство из которых были монокультурными, кукурузоводческими ».

Несомненная жизнеспособность звеньев без партийного

вмешательства теперь находит, по-видимому, всё усиливающуюся поддержку в той, еще малочисленной части крестьянства, которая уже работает и зарабатывает в звеньях, равно как и в стремлении отпочковаться звеньями от колхозов, еще остающихся вне звеньевых организаций.

Нужно полагать, что и некоторая часть партийного сельскохозяйственного начальства — как например авторы разбираемых сегодня материалов «Комсомольской правды», если, еще, может быть, и не очень поддерживает идею формирования звеньев, то и не противодействует, как раньше, особенно своим незванным вмешательством.

«Основным человеком на поле должен стать механизатор, глубоко заинтересованный в высококачественном выполнении целого комплекса работ, от вспашки зяби и внесения удобрений до сдачи зерна государству... Он не исполнитель. Не пешеход на поле, а его подлинный хозяин. У него нет «выгодной» и «невыгодной» работы. Он получает большую оплату за больший урожай».

Затем «первый секретарь» переходит к рассказу о том, как разваливались звенья по вине начальствующих: «За несколько месяцев звено дважды переформировывалось. К осени его состав был изменен на половину»...

«Я мог бы сейчас привести сотни показателей работы наших звеньев. Кстати, в этом году их у нас уже восемьдесят одно».

Это уже похоже на «черный передел». Трудно теперь представить себе, что начатая реформа на селе может быть приостановлена или даже аннулирована. Допущена партией она была потому, что «нужно было есть». Теперь же пришли в движение уже и иные силы, социальные, которые неизбежно должны перейти и в жизнь политическую.

Об этом свидетельствует в известной мере та партийная лживость, которой был окружен съезд колхозников, о такой неизбежности говорят и высказывания авторов-партийцев, материалы которых мы сегодня рассматриваем.

Партия довела село до состояния крайней нищеты, выкачиванием всех жизненных ресурсов на поддержание той бездонной бочки, которая называлась научным ведением хозяйства, и на мировую революцию. Следствием такого материального положения людей в материалистическом обществе явилось полное презрение, унижение человеческого достоинства, о котором не мало говорилось и даже писалось в СССР. «Колхоз», «колхозник» стало синонимом чего-то низкого, неорганизованного не только в материальном, но и в духовном отношении, кроме презрения ничего и не заслуживающего.

У колхозника не было никаких перспектив в жизни, в работе, в общественном положении. Он был обречен всю жизнь влачить свое существование только на положении рабочей скотинки, обслуживающей своих партийных господ, приклеивших себе ярлык « товарищей ».

« Родная рабоче-крестьянская власть » сумела поставить крестьян в такое положение, что всякая работа валилась у них из рук.

« ...мы попытались найти виновного. А ими всегда оказывались, если не председатель, то главные специалисты хозяйства. С них и спрашивали. У рядовых же колхозников чувство ответственности за землю, за урожай притупилось. Работа шла по принципу : « Как начальство скажет », или « на что у агронома голова, чтобы думать »?

К чему сегодня эти сетования? Ведь « начальство » именно этого и добивалось.

Две следующие статьи менее интересны. Их авторы оперируют теми же фактами, но уже со своих позиций. Один с позиций ЦК ВЛКСМ, а другой — ЦК партии.

В статье секретаря ЦК ВЛКСМ мы обнаружили только одно очень интересное сведение, старательно упрятанное глубоко в текст.

« Сообщения из различных областей, краев и республик о более высоких хозяйственно-экономических результатах деятельности механизированных звеньев свидетельствуют, во-первых, о преимуществах новой системы организации и оплаты труда; во-вторых о том, что эта новая система, получившая в звене Первицкого свое, так сказать, эталонное выражение, имеет отнюдь не местное значение. Принципы ее применимы во всех хозяйствах нашей страны. Новая система организации и оплаты труда *отлично приживается и в хозяйствах социалистических стран* ».

Это чрезвычайно важное обстоятельство и оно укрепляет нашу надежду, что пути партии к повороту вспять, если и не совсем отрезаны, то во всяком случае значительно затруднены.

« Если при бригадной форме организации труда и сдельной оплате пахота зяби проводилась за 90 рабочих дней, то при безнарядной системе (т. е. при такой, когда партия уже не отдавала никаких приказаний — Б.С.) — за 35 рабочих дней. Посев зерновых проводился за 8-9 дней, теперь — за три с половиной, четыре дня ».

И затем :

« Дело (это) давно перестало быть экспериментом, каковым оно было четыре года назад, а теперь новая система дает боль-

шой хозяйственный успех и уже *люди не понимают как можно жить по старому* ».

Мы уже использовали все существенное из всех трех статей, за исключением интервью секретаря Миллеровского райкома партии, сделанного не без заднего умысла.

« ..По мере дальнейшего развития нашего сельского хозяйства будут повышаться запросы механизаторов. Может быть не столько в материальном отношении, сколько в духовном. Уже сейчас бурно протекает этот процесс, влияет на образ жизни, мышление, общественный быт земледельцев и, в частности, сельской молодежи. Вы, партийный работник, руководитель района ощущаете ли необходимость и в дальнейшем совершенствовать воспитательную работу на селе? ».

Ответ на поставленный вопрос не пришел сразу. Но пришел.

« Перемены, наступившие буквально на наших глазах, не могут не радовать. Но эти же изменения... накладывают на нас огромную ответственность, которая прежде всего выражается в конкретности требований к нам : надо работать еще лучше, грамотнее, самоотверженнее ».

Ответственность партийная действительно « огромна ». Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС в своей статье весьма неосторожно обмолвился :

« Если в 1965 году было произведено продукции в колхозе на одного работающего в растениеводстве на две тысячи тридцать семь рублей, то в 1968 году — на восемнадцать тысяч пятьсот рублей. Производительность возрасла в пять-шесть раз. (Товарищ из Академии ЦК, надо полагать, временно забыл арифметику. Производительность возрасла в девять раз с небольшим. Б. С.). Себестоимость одного центнера зерновых составляла в 1965 году 2 руб. 86 коп., а в 1968 — 2 руб. 12 коп. ».

Производительность возрасла стремительно, но себестоимость почти не снижалась. Почему? На этот вопрос можно и не ожидать ответа. Перед нами вопрос неизмеримо более важный. Чем партия может объяснить тот факт, что немедленно после введения безнарядных звеньев производительность выросла больше чем в девять раз?

Ответ до необычайности прост. Произошло это только потому, что партия высвободила из своих административных тисков этих земледельцев, и теперь они пахут и сеют уже без оглядки на собрания сочинений основоположников марксизма, сдобренные подчас « волонтаризмом » партийных набобов. Больших и маленьких.

Но возвратимся к цифрам. Убийственным для партии. Они означают ни больше, ни меньше чем ежегодную потерю каж-

дым земледельцем 16.463 рублей. И так из года в год за всё время коллективизации, с некоторыми, конечно, отклонениями, Делать точные подсчеты нет смысла. И так ясно, что страна потеряла под мудрым руководством только на этом не одну сотню миллиардов рублей.

Цифра же общих потерь от «научного хозяйствования», если и может быть исчислена, то величинами сверхастрономическими. А самое драгоценное : человеческие жизни, страдания, кровь, потерянное время — уже вовсе никакому учету не поддаются.

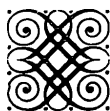
Партия «вела» страну к «сияющим вершинам коммунизма», к единомыслию. Отсюда и все средства побуждения и принуждения, начиная от военизированного нелепого языка, кончая волчьими ямами и пулеметными вышками на границах. А привела она к разбитым черепкам.

Оказалось, что без принуждения, без «перевоспитания», без исправительных и всяких иных лагерей, земледельцы могут давать в девять раз больше продукции, чем под дулом нагана.

И чтобы позор человеконенавистинической доктрины был полным, об этом миллионным тиражом оповестил в партийной газете официальный партийный представитель.

Закон возмездия пришел в действие!

Б. Сибирский



К Н И Г И

ПЕТР БОБРИНСКОЙ. СТИХИ. Париж, 1969

Белые цветы

Стихи покойного графа Петра Бобринского, поэта, которого хотелось бы назвать, словами Боратынского, «Звездой разрозненной плеяды», вызывают в душе читателя двойную радость. Во-первых, в этих стихах дышит подлинная поэзия, написаны они кованным стихом, любовно выношенным, и, во-вторых, этот поэт каким-то высоким парением еще принадлежит Золотому Веку русской поэзии. Как и они, — плеяда звезд, окружавшая наше солнце — Пушкина, — Бобринской верен их священному завету — «служенье Муз не терпит суеты», завету, который кажется в наше время таким старомодным! Автор сборника сумел сочетать этот высокий дух с глубоким проникновением в трагедию наших дней.

Не могу вполне согласиться с мнением Г. Адамовича, который считает, что гр. Бобринского роднит с Боратынским, главным образом, то, что стихи их «мыслию проникнуты и этим выделяются среди большинства стихов нашего времени». «Мыслящих поэтов» у нас не мало; мне кажется, гораздо реже встретить чистого лирика. Но, безусловно, П. Бобринской духовный правнук Боратынского, так как оба задают вопросы метафизического порядка. Петр Бобринской и сам намекает на свое родство с «бесплодных дебрей созерцателем» — Боратынским, в стихотворении, начинающемся строками: «На нас печать проклятия легла, /Под сенью светносного крыла, /Мы верили в туманные мечты, /В восторги призрачные красоты». (Вторая строка выделена мною. О. М.) Повидимому, в юности его осеняли эти «светоносные крылья» Люцифера русской поэзии, того, который себя называет то «Недоносок», то «Блистательных туманов царь». Боратынский воспевал «поэзию таинственных скорбей», стремился разгадать «дикий смысл порока».

Однако, вскоре ученик отрезвляется от сумрачных чар духа небытия:

Но жизнь, — о благосклонная! — сожгла
Нам души, опаленные до тла,
И под лучами солнца горних стран
Блистательный рассеялся туман.
Наш слух острее и прозорливей взгляд...

.
У настеж в мир открытого окна
Нам Мудрость сокровенная видна.

Гениальный его учитель (говорят, большое искусство всегда демонично!) считал, что «юдольный мир явления /Свои не изменит!/. Все ведомы, и только повторенья /Грядущее сулит!», что «бесплодный вечер» жизни лишь «венец пустого дня». («На что вы, дни!» — Боратынский).

Его отдаленный потомок и ученик, живя в более грозную эпоху, стал прозорливее учителя. Он чувствует «под хаосом игру согласных сил», хотя «весь мир в огне» горит. Для него не «в тягость роскошь» Мироздания, Вечность не «бессмысленна», потому что «вкусившим горний хлад и воздух Аннапурны» становятся чужды игры на подмостках суетного мира, им «румяна не к лицу». «Душа проснувшаяся в Боге» отворачивается от «пены славы», от шума жизни. Тот, кто узнал «подвиг долгий и тяжелый /Всезабывающей любви», находит всюду «вдоль пустырей земного бездорожья /земной любви неизгладимый след», а из горечи утрат для него «возникнут ныне /простые, вечные слова». Вечные слова — всегда простые.

Есть цель одна, и путь один,
Как даль, как море необъятный,
Везде, всегда, в дыханьи льдин,
Под ризой ночи благодатной,
Тяжел как молот, бой времен
Томит прошедшее сильнее.
Душа растет и нежность с нею,
И — долгий плен преодолен.
Страданья нет, забыто горе,
И цель одна, и путь один —
Любовь с мерцаньем звезд во взоре
Под треск ломающихся льдин.

Любовь для поэта — «тихая подруга»: это она исцелила душу его от отчаяния. Даже в «нищей деве с подведенным ртом» он чувствует ее преображающую силу. Но если обманет любовь, на смену ей приходит кроткой странницей нежность. («Нежность», стр. 20). Она — белый цветок, схоронившийся под снегом от бурь жизни. И таких очаровательных белоснежных цветов много рассыпано в сборнике.

Пену славы, жизни шум мы сменим
На покой уже беспенных рек,

На упорный медленным паденьем
Тайну жизни хоронящий снег.

(стр. 32)

По мере того, как душа «отвыкает от страдания», в ней растёт уверенность, что она хранима «нездешней волею». К такой душе, проникшей «в тайны мироздания», узнавшей «сиянье лица, / следы Божественных касаний», дается «радость без конца».

Но поэты живут не только «высокими мечтами» — «ныне славой малых мест живем». «Только мудрость этой жизни малой / Дорогой купили мы ценой», сознается он.

Сколько нежности в стихотворении «Руки»! Всё чувственное обманывает — «всегдашний недруг — оборотень счастья» :

Одна лишь не обманет сказка рук
В греховно грубом и ненужном теле,
В пустых ладонях девичий испуг,
Немая песнь о вечно близкой цели.

Великолепны стихи о России! Мне думается, что Петр Бобринской угадал тайную суть своей страны, ее истории. «Наш заветный / непоборимый наш мороз» может собрать воедино, сковав могучими оковами, «разъятые стихии / Души твоей, души России». Это он стоит на страже русских твердынь, он «гасит в преддекабрьской мути / Мгновенный пламень революций» и, как некий чародей, претворяет «небылицу» в живую быль, а «морок буден» в сказку, что «будет... длиться, длиться...»

Душа родины «горестная и чудная», но ее коснулся весенний туман, и всё зазеленело вновь.

Огромными, недвижными волнами
Легла моя страна.
Над топиями болот, над целинами
Плывет туманом ласковым весна.

И вот слилася с горестной и чудной
Душой моей земли —
В пустых полях, что рожью изумрудной
И горькою полынью поросли.

Поэт видит не только красоту ее : от него не скрыты и гнойные ее раны...

Без думы о возможном, о борьбе,
Они беседовали о тебе.

Один сказал, что ветер в сад донес
Медвяный аромат твоих волос.

И говорил второй, что он вкусил
Лозы небес и мир благословил.

И вторил им последний, говоря,
Что ты светла, как райская заря.

Я знал, один, зияющий провал
Твоей души, но верил и молчал.

Жизнь была щедра к поэту : он испытал всю гамму человеческих чувств и сумел претворить их в поэзию, и в ней, как в зеркале, отразилась его благородная душа.

Книга графа Петра Бобринского с портретом автора прекрасно издана. Изящная обложка работы Александра Серебрякова.

О. Можайская

Елена СЕМЧЕВСКАЯ. РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

1969, изд. автором.

Еще до выхода этого сборника, рассказы Елены Семчевской печатались в эмигрантских журналах и газетах. Но судить о всем творчестве писателя по отдельным очеркам трудно. Теперь, что они собраны в отдельную книжку, настоящее лицо автора вполне обрисовывается. Должна сознаться, что редко встреча с незнакомым писателем дает столько удовлетворения. Автор книги близок нам, русским людям, потому что она, как и герои ее, прошла через те же мытарства нашей эмигрантской жизни, мужественно перенося их и не забывая, при этом, эгоистически других, быть может, еще более обездоленных. В книге разлито столько настоящей доброты и отзывчивости, что невольно в читателе пробуждается ответное чувство. Вероятно, именно эти свойства вызывали такой живой отклик у тех, кто писал ей благодарные письма и о которых она упоминает в своем предисловии.

Книга написана хорошим русским языком, что особенно ценно в наше время, когда талантливых беллетристов почти

совсем не стало. К счастью, наши поэты выпускают свои сборники стихов довольно часто. Интересно было бы выяснить, почему лирики не «переводятся на Руси» и за рубежом, а хороших прозаиков так мало!

Е. Семчевская, по собственному признанию, начала писать очень рано. В рассказе «Первый блин не комом» живо и остроумно говорит она о том, как девочкой тринадцати лет переживала муки творчества и восторг от полочки первого гонорара, но узнала также, «что в писательской светлой деятельности есть и обратные, так сказать, теневые стороны. Увидела. Содрогнулась. Но не сдалась».

Последние слова характерны для писательницы. Жизнь бьет в ней ключом, природное мужество не покидает ее в трудные минуты. Это чувствуется во всех ее рассказах. В «Деревья и люди» говорится о том, что в двадцатые годы, когда еще никто не слышал о «перемещенных лицах», это слово уже существовало: оно относилось не к людям, а к деревьям, которых пересаживали из одного сада в другой. Одни деревья пускали глубокие корни на новой почве, другие «старались освоиться, но с трудом, а третьи стали хиреть и скоро погибли». «Ведь деревья, как люди», — «говорит немец-садовник», — «Одни осваиваются на новом месте, а другие, оторванные от родной земли, — погибают». В другом рассказе — «Зайцы, базар, победа» описана тяжелая жизнь русских беженцев в Вене в 1945 году, когда почти невозможно было найти работу, даже сбыт игрушек стал труден. Это было время, когда все русские, проживающие в Австрии, бросились мастерить из старых тряпок всяких кукол и зверей, главным образом, «целые полчища зайцев». Нам всем памятен этот период, когда мы холодали и голодали.

В другом очерке «Мерри Кристмас, мистер Джонс», героиня (рассказ ведется от первого лица) поступает на службу к американцам переводчицей. В этом бюро решается судьба многих сотен русских лагерников, мечтающих уехать в С. Ш. А. Пожилых и старых принимали неохотно, и они томились, ожидая решения своей участи. Мистер Джонс не безразличен к их судьбе, он старается пойти им навстречу.

Трогательна и убедительна история «Всетаки стоит жить», о том, как «маленький плюгавенький цветок торчит» — начинается весна — среди всякого мусора. Он невзрачен — «цветочная дворняжка». Глядя на него, герой, раздавленный собственными бедствиями, понял, что «стоит жить на свете, и мы хотим жить...» Быть может, еще убедительнее этот зов жизни звучит в повести «Мизерия»: вид чужого несчастья пробуждает от эгоистической замкнутости девушку, прозван-

ную Мизерией, так как она произносит это слово по всякому поводу.

О том, что доброта неистребима в душе русской женщины, рассказано в забавной истории — «Лагерная Мария Медичи», о беженке, ставшей кухаркой, испытывавшей много неприятностей от происков некого «изверга Кулькова-Ришелье», вплоть до отставки «от котла». Эта Марья Сидоровна нашла в своей судьбе сходство с судьбой французской королевы — Марии Медичи. Та, тоже, интригами кардинала Ришелье, была устранена от власти... Но русская Мария Медичи не злопамятна. Бывшего врага, лишившегося куска хлеба, она жалеет и подкармливает. Она говорит приятельнице: «А что есть теперь у меня возможность человеку в беде помочь — за это я каждый день Бога благодарю».

В книге много юмора. Пожалуй, в данное время, Семчев-сказ не имеет себе соперников в этом жанре.

В той же «Лагерной Марии Медичи» описание битком набитого нью-йоркского метро, куда стараются протискаться бабушка с внуками. «Ваш бой укусил меня в ляжку, — мрачно изрек какой-то неприветливый дядя ...Он говорит, что ваш внук укусил его в ногу... — А как же иначе дитя малое, беспомощное могло бы протолкаться? — агрессивно сказала бабушка». В метро попадаете ей старая знакомая, которой она сует в руку записку со своим адресом. «Жду! — проревела она и двинулась к двери вслед за внуками, прокладывая дорожку, судя по судорожным движениям пассажиров, опять не без помощи зубов».

В рассказах «Сакрифайс» (жертва) и «Кот в мешке» остроумно говорится о том, как русские беженцы, обосновавшись в Америке, начинают обзаводиться навязанными им, дорогими, но подержанными а иногда и ветхими «предметами первой необходимости», вроде ледника, автомобиля и даже целого дома. В рассказах «Ну и релакс», «Королева на минуту», «Когда же начинается жизнь?» описаны разные перипетии из жизни русских эмигрантов в С.Ш. А., в поисках службы или на покое, в старости.

Очаровательны дети у Е. Семчевской. Читая описание этих озорных, но чудесных ребятишек, не удивляешься, что их мамы, тети, бабушки и «поклонницы» всех возрастов становятся их рабами. «Приставучую» тетю Лилию малыш-Котыка («Котик и Котыка») привязывает за ногу «к массивной ножке стола». «— Теперь уж непременно выпорю, — возвестил Котик, пытаюсь развязать узел. — А почему ты ее не выпарывал, когда она тебя самого привязывала? — Да я тогда шутила, глупыш. — Ну, а я теперь тоже шутию».

Я убеждена, что книга Е. Семчевской встретит большой и заслуженный успех. Это одна из редких книг, которую перечтешь не один раз с наслаждением.

О. Можайская

ГЕННАДИЙ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ. ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ

Повесть и тринадцать рассказов. Париж, 1969.

Геннадий Озерецковский — новое имя в нашей эмигрантской литературе. Называется его книга «Червь земли». В ней повесть с тем же названием и тринадцать рассказов.

Тон этих рассказов очень искренний. Писатель природный юморист, — у него много неподдельно забавных сценок, где фантазия переплетается с действительностью. Главная тема Озерецковского — исследование человеческой души. Герои его — мечтатели, слабые перед искушением, перед соблазном женского очарования. Есть в них и гамлетовский комплекс. Они часто обречены играть немного смешную роль. Но, кроме внешнего человека, есть и тайное его лицо: есть и наблюдатель, созерцатель, которого он называет своим «Виргилием» или «тенью», никогда не покидающей его (рассказ «Виргилий»). Этот наблюдатель живет своей одинокой, но полной ярких впечатлений, жизнью. Для людей, не обладающих такой тенью, он кажется выходцем из другого мира.

Озерецковский умеет создать атмосферу, вызвать к жизни самые фантастические ситуации и, вдруг, разрушить их, как карточный домик («Невероятная история»).

Описание женских чар — пляски голых дам (вдруг оказавшихся ведьмами) полно динамики. Творчество Г. О. пропитано эросом. Женщина, будь то самая невинная девушка или иступленная вакханка, — носительница этого жизненного начала. Она всегда — соблазнительница Ева.

Автор иногда прибегает к шаржу («Невероятная история», «Приглашение провести несколько дней в деревне», «Потенциальная ведьма», «Вилка»). Чтобы усилить впечатление, он создает контрасты, как например, в «Виргилии» существование бок о бок двух непримиримых миров — каторожный труд в грязном подвале и рядом — идиллический мир мечтательных барышень. В «Город без названия» рассказано, как среди повального безумия, некоего «пира во время чумы» из временного наваждения родилась прекрасная неумирающая мечта. Контраст сна и яви, вплетенных в ткань бытия, остро ощущается в книге.

Автор ставит вопросы на очень современные темы и не находит на них ответа. — Что такое свобода? да и есть ли она? возможна ли? — Что такое мораль? быть может, наша мораль — вполне аморальна? — Проблема Рока — («Что можно изменить?»). Проблема добра и зла: кроме добра и зла есть еще нечто третье — ничтожество, которое недостойно даже быть убитым («Достойна»). Проблема пола и двойственности души. Жалость и добродушный юмор разлиты в этой книге, как бы торжество некоего человеческого начала над слепыми, темными силами в мире.

Мне кажется, что «Червь Земли» самая значительная повесть в книге. Гений Достоевского незримо присутствует во всех диалогах действующих лиц. Он настолько овладел душами современников, что стал руководить всеми их поступками. Даже майские события 1968 года в Париже чародей-Достоевский не то предвидел, не то накликал...

Стиль повестей довольно небрежный — это ускоренный темп разговорной речи. Порой фразы до того отрывисты, что вызывают в читателе раздражение. Но все рассказы увлекательны.

К сожалению, в книге не мало опечаток.

О. Можайская

Ольга ДАРТАУ. СБОРНИК. Стихи и рассказы

Издание автора, Колумбус, 1969.

Стихи Ольги Дартау беспомощные, безнадежно серые. Мысли затасканные до отказа. Возможно, что автор переживал сильные чувства, когда писал эти вирши. Но в них столько нагромождено «вздохов», «кошмаров», «страстей», «красивой мечты» и слез — «перлов любви», что искреннее чувство, тщетно пытавшееся высказаться в звучных строфах, умирает безответным в груди поэтессы.

Такие строки как

Справлял пир страсти и дурмана
Безумный рыцарь — сэр Дуран...

кажутся «литературными шутками» расшалившейся молодежи.

Если автор прочел бы вслух хотя бы раз свои стихи, то

несомненно увидел бы, что многие строки, вместо того, чтобы петь, слипаются в комок и застревают в горле :

Его вдруг облик стал бледнеть...

или :

И понеслась ввысь песня страстно...

Проза О. Д. также изобилует сентиментальностью и банальными образами фатальных женщин и неразделенных страстей.

Но, по-видимому, даже такая литература имеет своих почитателей : « Сборник » (стихи и рассказы) — уже третья книга поэтессы. Две первые ее книги разошлись.

О. Можайская

А. ГАЛИЧ — « ПЕСНИ » — издание « ПОСЕВ »

— На недавно состоявшемся в Париже докладе Леонида Владимирова, автор « России без прикрас и умолчаний » отметил появление в России нового термина : « Тамиздат ».

Разбираемая книга как раз и принадлежит к этой новой разновидности нелегальной русской литературы, тревожащей советских « держиморд ». « Самиздат » — тайно размножаемая в СССР литература, понятие уже давно получившее право гражданства. « Тамиздат » — новая форма « крамольной » техники : рукопись вывезенная за границу и « там », для внутри-русского читателя, изданная.

И если для зарубежья — « там » — это в России, а для москвичей — в эмиграции, то этот двойной « там-там! » по удивительному звуковому сходству напоминает тревожный сигнал — призыв африканских лесов, перекличку с невидимыми, но таинственно осязаемыми братьями!

А. Галич избрал для своего свидетельства-обличения самую доходчивую форму, обеспечивающую широкое распространение : сатирическую песню, как искра по сушняку бегущую от веточки к веточке и разгорающуюся в пожар. Как ничто другое, этот общий смех, — а песенки возникают везде, где собираются русские люди, — пробуждает и общую мысль : почему же мы позволяем у себя в доме такое безобразие?

А так как способный смеяться, очевидно, до конца не запуган : осмеиваемое скорее отвратительно, чем страховидно, то песенка-издевка опаснейшее оружие, в борьбе с глупыми и подлыми душителями жизни.

Это первое чувство, вызываемое книгой А. Галича у читателя. Рупор песни и «чувство локтя», у поющих и слушающих, должны его стократно усилить.

И вот что замечательно: А. Галич нашел такие слова и, безусловно сознательно, допустил некоторые такие шероховатости и даже выпадения из общей тональности, что песни его, и в этом главная их сила, обратились из приглаженной подделки под «народное творчество» — в народное творчество подлинное. Если припомнить, что такое превращение случилось и со стихами других русских мастеров, но тут дело идет о целой книге, то удача А. Галича поистине удивительна — он органически слился с теми, о ком и для кого поет.

Каким эпиграфом можно было бы, как лучом маяка, определить место этой книги в бурном море русского безвременья? А. Галич так богат афоризмами, что выбор среди них труден.

Разве это, — кратче и исчерпывающе не скажешь:

Непротивление совести —
Удобнейшее из чудачеств! —

— какое блестящее развитие толстовского учения!

И сразу, без подготовки, нас потчуют специальными советской кухни... Осторожней — переперчено! Но отнюдь не автором, вкусы наши сходны, переперчено самой жизнью «под советами»... Перец этот — осатанелая, — чуть не написал — звериная, но это было бы клеветой на зверя, — душа караульного и палача лагерей «перековки»; перец — блатной, циничный, хамский, не всегда даже, с непривычки, понятный язык персонажей; перец, для свободного сознания, невероятное приятие «гражданами» издевательства за нормы закона и, наконец, перец — огненный перец, — восстание души, ее героическое сопротивление.

Всё, всё, чем окружен и чем всё же живет человек в России, вылилось в подлинно народных песнях А. Галича. Книга потрясает, печалит и... радует.

Мне остается только дополнить, иллюстрировать эти впечатления некоторыми цитатами.

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за.
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...

А молчаливники вышли в начальники,
Потому, что молчание — золото.

.

Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому, что молчание — золото.
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи!
Промолчи, промолчи, промолчи...

— это чтобы выжить, а чтобы преуспеть :

И не странно ли, братья серые,
Что по-волчьи мы на лету
Рвали горло за милосердие,
Били морду за доброту!

Но нельзя петь только о горе, лагерях, палачах, нищете и запое... В народном сознании неистребима мечта о чудесном, трогательном, чистом. Этой спасительной потребности и отвечает песенка о « милиции сержанте — Леночке », — сказочка внесенная в обстановку предельно грубую. И что характерно : герой, волшебный красавец, снимающий Леночку с милицейского поста — « званья царского », а не, скажем, заезжий первый секретарь какой нибудь « братской партии »... По-видимому, когда мечта уносит человека за облака, принцессы и принцы никогда не уступят своего места ни « орденоносным героям », ни, даже, сынкам и дочерям « империалистических » президентов...

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.
Красоточка-шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.

Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферами
Ругаться целый день.

.

Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине писанный
Красавец-эфиоп,
Глядит на Лену пристально,
Красавец-эфиоп,
И встав с подушки кремовой,
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец-эфиоп!

.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет :
Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмет,
Шахиню, бля, Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

А вот и « Ошибка » — украденная у народа победа :

Мы похоронены где-то под Нарвой.
Мы были — и нет.

.

Только однажды мы слышим, как будто,
Вновь трубы трубят.
Что ж, подымайтесь, такие-сякие.
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах и нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!

Россия как-будто сломлена и чекист, во сне, сладком сне
переходящем в смерть, « загоняет стихию (Черное Море) в
барак » :

И лежал он с блаженной улыбкою,
Даже скулы улыбка свела.
Но, должно быть, последней уликою
Та улыбка для смерти была.
И не встал он ни утром, ни к вечеру,
Коридорный сходил за врачом,
Коридорная Божию свечечку
Над счастливым зажгла палачом.

И шумело море, море Черное,
Море вольное, никем не прирученное,
И вело себя не по правилам,
Было Каином и было Авелем!

Помилуй мя, Господи, в последний раз...

Да, этот палач умер в волнении радостного сна, а на деле...
Бог знает, что будет на деле :

Утро Родины нашей розово!
Позывные летят, попискивая,
Восвояси уходит бронзовый (*памятник Сталина. Н. С.*)
Но лежат, притаившись, гипсовые;
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие,
Им бы, гипсовым, — человечины,
Они вновь обретут величие.

Так, с надеждой, с сомнением, с мукою поет, голосом Рос-
сии, А. Галич.

Николай Вл. Станюкович

Русская эмиграция и культура

(О « Записках » Русской Академической группы в США)

В эмиграции идет подготовка к изданию книги « Русская эмиграция и ее вклад в мировую культуру ». Цель ее — показать, что внесли в мировую культуру русские эмигранты-ученые, писатели, художники, артисты.

О подготовке к изданию этой книги сообщается в « Записках » Русской академической группы в США, второй том которых вышел в Нью-Йорке.

Одна из задач самих « Записок », как видно из их содержания, та же : оценить тот вклад, что вносят русские ученые в мировую науку, в мировую культуру.

И действительно, в « Записках » можно найти интересные материалы, дающие представление о научной деятельности русских ученых в разных областях знаний, о творчестве писателей, о работах художников.

Так, во втором томе « Записок » опубликован обширный обзор творчества русских художников-эмигрантов для театральной сцены. В нем перечисляются сотни работ тридцати семи русских художников, из них только пять, среди них Врубель, умерший еще в 1910 году, не покидали России. Остальные тридцать два художника — эмигранты. Среди них : Юрий Анненков, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Евгений Дункель, Наталья Гончарова, Константин Коровин, Михаил Ларионов, Николай Рерих, Сергей Судейкин, Димитрий Стеleckий.

Обзор в « Записках » опубликован на английском языке, чтобы, как пишет в предисловии автор обзора Н. Д. Лобанов, « дать возможность читателю, не знающему русского языка, найти нужную историческую справку ».

На мой взгляд, в « Записках » русской академической группы весь материал следовало давать на русском языке. Однако, от того, что дан обзор на английском языке, историческая ценность его никак не умалется.

Все остальные статьи « Записок » — на русском языке.

Проф. С. Г. Пушкарев, автор нескольких книг по истории России на русском и английском языках, до войны профессор Русского университета в Чехословакии, член Американского исторического общества в настоящем, — дал в « Записки » свою

работу о Донском казачестве — «Донское казачество и Московское государство в XVII веке».

Для сравнительно небольшой этой работы автор использовал обширный исторический материал, собранный в книгохранилищах Йельского университета в г. Нью-Хейвен, в штате Коннектикут, где проф. С. Г. Пушкирев живет.

В библиотеках американских университетов, открытых для русских ученых, собраны богатые материалы не только по русской истории. Немало здесь литературных архивов. В частности в Йельском университете за последние годы значительно пополнены архивы, относящиеся к истории русской эмигрантской литературы. Это заслуга куратора Славянского отдела библиотеки, известного эстонского поэта-эмигранта Алексиса Раннита, большого знатока литературы эмиграции. В библиотеке университета собраны комплекты журналов, давно ставших библиографической редкостью, как «Аполлон», «Мир искусства». Есть комплекты эмигрантских журналов, среди них комплект «Современных записок». Есть собрание книг по русской философии: Соловьев, Бердяев, Лосский, Шестов, Франк, Вышеславцев. Богатые коллекции русских книг и в библиотеках других американских университетов.

Словом, русские ученые располагают богатыми материалами, собранными в университетских библиотеках Америки.

Проф. Н. С. Арсеньев, в прошлом профессор Саратовского университета, автор ряда работ по истории русской культуры, поместил в «Записках» статью «О духовной и культурной традиции русской семьи».

В 1970 году исполняется сто лет со дня рождения Бунина. В Советском Союзе написано о нем много. И вполне искреннего, даже объективного, и чисто пропагандного и просто лживого, что прежде всего касается политической позиции писателя, до конца жизни своей оставшегося непримиримым противником коммунистического режима. Между тем, советские литературоведы сделали из Бунина чуть ли не советского патриота.

В «Записках», под рубрикой «Из истории русской зарубежной литературы», опубликована «Переписка И. А. Бунина и П. Б. Струве» за годы 1920-43, с обширными комментариями известного зарубежного литературоведа проф. Г. П. Струве.

Публикация, приуроченная к приближающемуся юбилею писателя-эмигранта, представляется мне чрезвычайно ценной именно в связи с тем, что пишут и напишут еще о Бунине советские литературоведы.

Кроме названных мною основных работ второго тома «Записок», в нем еще ряд статей по разным отраслям науки.

Статья бывшего ректора Киевского университета, до войны профессора Пражского университета, Е. В. Спекторского «Правительство и власть»; статья проф. М. А. Полторацкой, недавно скончавшейся в столице штата Нью-Йорк Олбани, где она занимала в штатном университете кафедру русского языка, — «Академик Л. В. Щерба и его труды». Проф. М. А. Полторацкая была ученицей проф. Щербы, училась в аспирантуре Ленинградского университета.

Еще статьи: профессора-химика Ю. А. Сененцова «Новые веяния в преподавании химии в высших учебных заведениях Советского Союза», проф. К. Г. Белоусова «Загрязнение вод в СССР», проф. А. П. Семенцова «Антиатомическая реакция в XIX и XX столетиях», В. Федукевича «Антарктические воды у дна Атлантического океана».

Перечислением статей я хочу показать, как широк круг научных вопросов, затронутых авторами второго тома «Записок».

Профессор Нью-Йоркского университета З. О. Юрьева посвятила свою статью семидесятипятилетию выдающегося русского слависта-эмигранта, имя которого известно в научных кругах всего мира, проф. Б. Г. Унбегауна, принадлежащего к той части русских ученых, которые ушли в эмиграцию после Гражданской войны.

Родился проф. Унбегаун в 1898 году в Москве, где получил среднее образование. В Гражданскую войну сражался в рядах Белой армии. Учился в Югославии, в Люблянском университете, потом в Сорбонне, где защитил докторскую диссертацию. Был профессором Брюссельского и Страсбургского университетов. Во время войны сидел в лагере Бухенвальд. После войны — профессор Оксфордского университета, теперь — Нью-Йоркского.

Статья проф. К. Г. Белоусова посвящена другой знаменательной дате — девяностолетию проф. С. Т. Тимошенко который «...стал не только гордостью русских инженеров, но и всего цивилизованного мира».

Его многочисленные труды переведены на все главные языки мира. Американские ученики и последователи называют его отцом теоретической и прикладной механики.

Проф. С. Т. Тимошенко родился в 1878 году. В 1901 году окончил Институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Был профессором Киевского политехнического института, потом Петербургского путейского института. В 1920 году эмигрировал. Читал лекции в Загребском университете. В 1927 году уехал в Америку, получил место профессора Мичиганского университета, потом Станфордского, в Калифорнии. За науку

ные заслуги был избран почетным доктором технических наук восьмью американских и европейских университетов .

Раздел « Знаменательные даты » редакцией « Записок » посвящен юбилейным датам еще четырех русских ученых : проф. Н. С. Арсеньева (род. в 1888 году), профессора-историка Г. В. Вернадского (род. в 1887 году), автора ряда исторических трудов на русском и английском языках, профессора — юриста Г. К. Гинса (род. в 1887 году) и проф. С. Г. Пушкарева (род. в 1888 году).

Короткий некролог сообщает о смерти ученого с мировым именем — социолога П. А. Сорокина. Прожив много лет в Америке, выпустив несколько книг на английском языке, Питирим Сорокин остался, как пишет автор некролога, глубоко русским человеком.

Другой русский ученый-социолог, проф. Н. П. Тимашев, оценил роль Сорокина в области социологии так : « ...его значение в будущем будет сравниваться со значением отцов социологии (Контом, Спенсером) и с такими корифеями социологии, как Дюркхайм и Макс Вебер ».

Второй том « Записок » Русской Академической группы в США наглядно показал, что русской эмиграции есть, чем гордиться.

Владимир Самарин

член Русской Академической группы в США.



О роке в театре

Несомненно, что Ануй принадлежит к самым замечательным драматургам, не только французским, но и мировым. Его последняя пьеса, вышедшая на сцену театра «Л'Эвр», подтверждает это мнение. Называется она «Красные рыбки».

Когда-то мы учили, что гоголевский юмор — это смех сквозь слёзы. Юмор Ануя больше похож на слёзы сквозь смех или даже горечь и ядовитость сквозь смех, что наложило особый отпечаток на его последнюю «комедию». Многим придёт в голову, как и по поводу его предыдущей пьесы, что автор придал своему герою автобиографические черты. Не знаю, так ли это, поскольку каждый наблюдательный человек мог бы отметить в своей жизни, мог бы записать те же горькие истины, с которыми ему пришлось столкнуться... Мы особо реагируем на сарказмы Ануя, т. к. в смутное время всяких войн и революций с особой яркостью, с особой настойчивостью выплывают на поверхность мутной воды издавна затаённое недовольство, озлобленность, зависть индивидуумов, обиженных природой, всяких неудачников, уродов физических и моральных.

Ануй рассказывает в комической форме, как человек «по независящим от него обстоятельствам» родился в благородной и зажиточной семье, к тому же оказался талантливым драматургом, интересным, имеющим успех человеком, словом, волею судеб помещен в привилегированное положение. И вот, как бы добр он ни был, как бы он ни старался всем услужить, всех успокоить, никого не раздражать, самый факт его физического благополучия и материальной обеспеченности вызывает неизменную озлобленность всех, стоящих ниже его по социальной лестнице или преуспеваемости. Со школьной скамьи, с военной службы, во время отступления, точнее, бегства на велосипедах, через освобождение от оккупации и до самого последнего времени наш герой, драматург, встречается с неизбывной ненавистью товарища, считающего себя пролетарием и, поэтому уже, пышущего злобой. Под предлогом классового протеста «жертва» буржуазного общества беспрерывно предъявляет к нему требования и чем больше получает, тем больше ненавидит.

Стрелы Ануя направлены в разные стороны. Семейная жизнь его героя проходит в атмосфере беспрерывного недовольства его жены, тёщи и дочери, забеременевшей в пятнадцать лет с целью выхода замуж без любви, чтобы тоже «на-

солить » отцу. Всё это окружено мещанскими сплетнями, истериками любимой на стороне девушки, обвиняющей героя в том, что его социальное положение заставило её выдумать свой персонаж и поднять его на лживую высоту.

Антуан де Сэн-Флор (имя героя) всячески старается приспособиться, вплоть до самоуродования, — ничто не помогает и он остаётся « грязным буржуа », плохим отцом семейства, несправедливым любовником... Он виноват во всех несчастьях, недоразумениях, даже в разорвавшейся жениной перчатке...

Сквозь все эти недовольства, упрёки, ругань, обвинения зритель обнаруживает настоящую жертву и это — « счастливый Антуан ». Его настоящее счастье заключается в том, что жизнь снабдила его моральной броней, делающей героя почти неуязвимым и проходящим с философским спокойствием сквозь непрерывные уколы, доносы, недоброжелательство.

В моём изложении пьеса получила исключительно горький привкус. Талант автора перекрыл этот фон таким юмором, что зал непрерывно смеётся и горечь обнаруживается лишь после полного просмотра спектакля, да и то не сразу. Искусство Ануйя сказывается ещё и в том, что основная мысль, ведущая нить кажется непрерывно прерывающейся, перемежающейся с второстепенными эпизодами. Это скетчи, перемещающиеся во времени, вверх и вниз. Ануй с подчёркнутой лёгкостью обращается с приписываемым Аристотелю драматургическим правилом об обязательном единстве действия, времени и места. Из всей кажущейся путаницы выходит победительницей чудесная комедия, поражающая своей пессимистической логикой, остроумием и занятностью.

Вместе со своим постоянным сотрудником, Пьетри, и верным декоратором, Жан-Дени Мальклесом, Ануй сам поставил свою пьесу с максимальной экономией средств, но с замечательным составом артистов. Трудно себе представить, что кто либо лучше мог бы олицетворить желчного и подлого « пролетария », чем Мишель Галабрю, более выразительного Антуана, отряхивающегося от всех невзгод, как от неизбежных жизненных недоразумений, — чем чудесный Жан-Пьер Мариелль, трудно лучше сыграть озлобленного из-за своего физического уродства обвинителя и доктора, — чем Паскаль Мазотти, или мещанку — тещу в исполнении Маделен Барбюль, вечно недовольную и желчную жену в воплощении Ивонн Клеш, не говоря о других, прекрасно справляющихся с предложенными им ролями.

Почти одновременно с появлением пьесы Ануйя вышел на сцену Парижского Городского Театра « Эдип » Веркора, своего рода обработка двух пьес Софокла « Эдип Царь » и « Эдип в

Колоне ». По мнению автора этой операции, Софокл, написавший свою вторую трагедию через двадцать лет после первой, тем самым внёс корректив, элемент борьбы против слепого рока, т. е. снабдил Эдипа первыми чертами « революционера », не подчиняющегося предписаниям неба.

А вот Ануи через 2400 лет рисует нам в юмористических чертах современного нам человека, как бы отмеченного тем же роком, поместившим его, как выше было сказано, в определённые социальные, экономические и семейные рамки, которые держат его в сетях общей неприязни. Да он, де Сен-Флор, особенно и не борется, видя бесполезность своего сопротивления.

Перейдём к отчёту об упомянутом спектакле Софокла, т. е. Веркора. Не будучи сам фаталистом, я всё же вынужден удивиться странной судьбе Театра, ранее носившего имя Сарры Бернар. С тех пор как его перестроили и переименовали, он никак не может стать на твёрдые ноги, найти свой репертуар, соответствующий его техническим возможностям. Причиной тому может быть подбор режиссёров, упорно старающихся революционизировать репертуар и мизансцены. Это своего рода « чесание правой рукой левого уха » даёт самые странные, чтобы не сказать плачевные результаты. В постановке « Эдипа » подобного рода « поиски » оказались роковыми, хотя сценическая площадка, ввиду её формы, похожей на цирковую арену, прекрасно подходит к духу трагедии.

Для того, чтобы читатель понял, что сделали ныне с « Эдипом », я позволю себе вернуться на петербургскую арену цирка Чинизелли, куда в 1911 году немецкий режиссёр Рейнгардт привёз своего « Эдипа », со знаменитым Мойси в главной роли. Я видел слишком рано этот спектакль, чтобы иметь о нём определённое мнение. Помню лишь, что Петербург был потрясён новшеством постановки и игрой Мойси.

Но вот в 1918 году Ю. Юрьев в том же цирке ставит того же « Эдипа » и почти в тех же декорациях. Спектакль врезался в мою память и позволю себе о нём рассказать. Посредине арены возвышалась высокая лестница с тремя площадками, на верхней из них дворец Эдипа, внизу жертвенник. Дворец и арена были залиты ослепительным светом и тем самым совершенно отделяли место действия от зрителей. Звуки фанфар и напряжённая тишина. И вдруг через все проходы цирка проникает далёкий народный гул, постепенно усиливающийся и приближающийся. Этот гул походил на массовый стон. Со всех сторон греческая толпа ворвалась на арену, остановилась перед дворцом и воплями, жестами, молитвенными позами отчаяния обратилась к своему царю за помощью против массового бед-

ствия. Бесконечное количество протянутых ко дворцу рук, где, в ореоле специального освещения, показался царь Эдип, во всём своем величии. Незабываемы фигура и мимика Юрьева в этой роли. Скорбный и вместе с тем царственный тон обращения к народу, молчаливо прислушивающемуся к речи своего вождя. Все группы, окружавшие Эдипа, принимали скульптурные формы. Этому способствовали белоснежные хитоны, в которые были одеты персонажи свиты.

Красота зрелища, игра актёров, величественность движений странным образом влияли на зрителей 1918 года. (Особо подчёркиваю год, чтоб читатель понял, из кого состояло большинство зрителей). Это был гипноз замечательной постановки и талантливейшей игры. Исполнители сумели создать атмосферу наступающей трагедии. Не буду останавливаться на отдельных эпизодах, но не могу забыть выразительность, трагичность игры Юрьева, переходившего от спокойного величия к тревоге, ужасу отчаяния и к сцене самоослепления. Какая боль прозвучала, какое страдание, когда, прикрываясь своей хламидой, появился наверху Эдип с фразой «А! Как раны жгут незрячие глаза!» Какую жуть вызывает падение ослеплённого царя по лестнице со ступени на ступень, пока не подхватывает его внизу стоящий воин. Незабываем также финал, когда под симфоническую музыку Эдип, опираясь на посох, ощупью пробирается к выходу и скрывается за занавесью центрального коридора.

Незаметно для себя самого я перешёл на настоящее время, настолько мне показалось, что виденное зрелище стоит перед моими глазами. Прекрасная внешность Юрьева, античная элегантность, замечательная дикция и музыкальный голос, произвели огромное впечатление не только на толпу зрителей, но и на специалистов критиков, которые говорили о «литургичности» спектакля.

А теперь расскажу вам, что мы увидели и услышали в 1970 году в парижском «показном» театре.

До освещения площадки зал был оглушён странными звуками, напоминающими визг пилы, звон разбиваемой посуды, скрип несмазанной двери, хлопанье наседки, удары молотка и других металлических предметов. Свет дан и выделяет центральную площадку, на которой сжаты человек двадцать. Одетые в современные нам рабочие коричневые костюмы мужчины и женщины принимают самые неэстетические позы, ползают то на спине, то на четверёнках, иногда поднимаются, чтобы вновь поползти. Всё это сопровождается дикими визгами, воплями, хлопаньем трещёток, ладошей и среди какофонии кто-то что-то говорит.

Нет, не говорит, а вопит. Пророк Терезий выделяется тем, что он произносит нечто, прикрываясь японским веером, вестник приходит под японским зонтиком и наконец « хор » в виде нахального и развязного рабочего обращается к публике, зажигая папиросу « голуаз » и, с нею в зубах, что-то пытается объяснить. Всё происходит в полутемноте, без антракта (должно быть, чтобы зрители не разбежались) и когда трагедия (для зрителей) кончилась, все с облегчением вышли увидеть ярко освещённую парижскую улицу и с наслаждением услышать шум автомобилей и свистки полицейских, что показалось высоко гармоничным. Вероятно, и здесь « фатум » руководит так называемым современным театром.

При всём моём критическом отношении к подобному Софоклу я всё же отношу этот спектакль к попыткам что-то создать, т. к. после него в течение трёх вечеров нам пришлось видеть покушения молодых режиссёров на классические произведения, что может повергнуть нормального зрителя в отчаяние... Да и сами соавторы Шекспира и др. говорят, что их цель — разрушение прежних концепций, старой эстетики... Но об этом в следующий раз.

Л. Доминик



Отклики наших читателей

О ФИЛЬМЕ « АНДРЕЙ РУБЛЕВ »

Глубокоуважаемый Господин Редактор,

Пользуюсь Вашей просьбой в передовице январского номера « Возрождения » писать критику на материал, помещенный в журнале, чтобы высказать свое глубокое несогласие с отзывом г-на Доминика относящимся к фильму Тарковского « Андрей Рублёв ».

Этот фильм, по-моему, — огромное явление не столько в кинематографическом художественном отношении, сколько в духовном плане и в развитии истинно русского религиозного чувства на фоне советской действительности.

« Андрей Рублёв » такое многогранное, многопланное и многозначительное произведение, что нельзя в рамках моего письма охватить все его достоинства. Посему, ограничусь разбором лишь некоторых фактов.

Во-первых, мне хочется ответить на упрек г. Доминика в допущенных исторических ошибках этой грандиозной фрески Тарковского. Тут дело идет скорее о художественном перевоплощении взятой темы. « Война и Мир », в версии Бондарчука, хотя и очень тщательно воспроизводит роман Л. Н. Толстого и историческую эпоху, не превышает, однако, академического, бесталанного и серого режиссёрского домысла. Если бы Тарковский иллюстрировал, скажем, историю Ключевского, то, без всякого сомнения, он дал бы нам менее истинное представление об эпохе Рублёва. Известно, что подлинный художник творит новые миры, опираясь, конечно, на реальные события, но их преобразовывая и придавая им новое освещение. В этом и заключается искусство. Остальное же лишь трафарет, ремесло, « халтура ». Таким образом, вполне оправданы, например, пушкинский Лже-Дмитрий и Мазепа, которых в таком виде не найти ни в одном научном труде.

Во-вторых, г. Доминик увидел в фильме Тарковского « одни ужасы, зверство, насилия, членовредительство, пытки и беспричинное, беспредметное (sic!) издевательство над человеком ». Хочу верить, что виной этому ощущению был, действительно, неважный экран...

В этом фильме бесспорно показаны трудно переживаемые тяжелые сцены, которые нам дают сугубо черную картину нравов допетровской Руси, не отличавшейся, как и средневековый Запад, специальной нежностью и мягкостью. Но как же критик мог не обратить внимания на преобладающие в этом произведении человечность, гуманность, доброту, красоту ду-

ши и всепобеждающую силу русского народного гения? За зверством человека всюду проглядывает творческая энергия (полет нового русского Икара в начале фильма; отлитие колокола и иконописный подвиг Рублёва в самом конце). Несмотря на неподходящие условия, повинувшись своему прирожденному вдохновенному дарованию, не обращая внимания на непонимание окружающей среды, русский человек из народа, на подобие Лесковского Левши, творит.

Тема русской доброты и сострадания проходит красной нитью через весь фильм. Феофан Грек, который хочет передать в своих суровых иконах апокалиптический дух своей эпохи, не понимает Андрея Рублёва, который жалеет людей и не хочет своим творчеством их «пугать», изображая по заказу Страшный Суд. Но после своей смерти Феофан является Рублёву в разоренном татарами Владимирском Успенском Соборе и признает, что Рублёв был прав, что русские люди так пострадались, что роль художника принести им радость Благой Вести, а не грозить им вечными муками. На вопрос Рублёва, долго ли будет страдать русский народ, Феофан отвечает, что конца его страданиям не будет...

Самое волнующее место фильма это изображение Страстей Господних, какими их видит русский народ. Картина «русского Христа» одно из самых замечательных мест мировой кинематографии. Сцена происходит в снежном пейзаже à la Брейгель, в русской деревне. Все присутствующие русские — простолюдины. Сам Христос — русский крестьянин в лаптях. Вся судьба России, ходящей под тяжестью креста, распинаемой, поруганной, но алчущей и жаждущей правды, чистой сердцем, нищей духом, вмещается в этом отрывке.

Разговоры Феофана и Рублёва испещрены цитатами из духовных текстов и из Евангелия. Характерно, что Тарковский выделил место 1-го Послания ап. Павла к Коринфянам (гл. XIII): «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий...». Всё побеждает именно любовь, любовь сострадания ко всей Божьей твари, любовь, которая торжествует в красочном порыве Рублевского творчества. Фильм кончается на этой световой симфонии, в которой русский человек узнает смысл своей страдальческой жизни, олицетворенный Звенигородским Спасом, в котором художник сосредоточил свой идеал души «голубиной белизны». Самый конец фильма связывает иконописный мир гармонии с реальным миром. Четыре лошади указывают на продолжение и силу жизни под весенним дождем, символом великого плача России над своей судьбой.

Если пристальнее присмотреться к проходящим на полотне картинам, то, кроме ужасов и зверства, выплывают замечательные сцены человеческих отношений. Запечатлелись посещение Андреем Рублёвым Даниила Черного, где дан пример подлинной братской любви и христианского смирения, отношение Рублёва к несчастной блаженной и, главное, незабываемая сцена, когда, нарушив свой обет молчания, Андрей Рублёв утешает рыдающего подростка — русского самородка. Именно благодаря подвигу этого мальчика, сумевшего без всяких знаний отлить колокол, он уверовал в вдохновенное творчество своего народа и в нем вспыхнула жажда воплотить весь выстраданный опыт в росписи Божьего храма.

Все эти черты далеко не исчерпывают смысла картины « Андрей Рублёв », которая кажется нам первым подлинным православным произведением советского искусства.

Вопреки утверждениям г. Доминика, все артисты выбраны исключительно удачно и каждый из них создал образ художественно верный и четкий. Нет и тени кощунства. Даже удивительно, что тирада против Церкви вложена в уста монаха Кирилла, своего рода завистливого Сальери, героя далеко не положительного, доносчика, озлобленного и с мелкой душой человека, который, уходя из монастыря, проклинает всю братию. Но и он, в конце концов, пройдя крестным путем мирской жизни, возвращается в обитель, кается в своих грехах, признается в предательстве скомороха и даже защищает своей грудью неповинного Андрея Рублёва, на которого разъяренный скоморох поднял топор. Сама идея об искре Божией, теплящейся даже в душе такого Иуды, идет по прямой линии от Достоевского.

Нет и тени « сусальности ». Разве можно сказать, что « суселен » Андрей Рублёв, взявший на себя грех убийства ради спасения блаженной девушки? С. Солоницын в роли святого Андрея бесподобен своей простотой и ненаигранностью. Все другие исполнители, как главные так и второстепенные, вплоть до толпы, — все на своем месте.

С точки зрения кинематографического искусства, трудно правильно судить об этой картине из-за пропусков, сделанных в течение пяти лет цензурой. Но даже в таком виде, в каком она дошла до нас, она воспекает русскую природу в ее мельчайших проявлениях (не надо забывать, что Тарковский автор и другого замечательного, хотя и не такого масштаба, как « Андрей Рублёв », фильма « Иваново детство »). Камера улавливает красоты разлива русских рек, таинственность леса, строгость пропорций древней архитектуры, простор русской равнины, и всё это построено композиционно как в живописи.

Недаром « Андрей Рублёв » запрещен в России. Кроме его христианской тональности, невольно напрашивается параллель между всеподавляющей властью и свободным творчеством. Свободному художнику остается лишь наложить на себя молчание, так как по заказу он творить не может. И вся окружающая обстановка (доносы, вражда, грубость нравов и пр.) так его опустошает, что приводит его к полному бесплодию. Несмотря на злободневность этого фильма, обобщение идей, вечных вопросов, волнующих всех людей, сложности человеческого бытия делает его универсальным.

И. Р. Маркадэ

О ВЫСТАВКЕ МАРКА ШАГАЛА

Глубокоуважаемый Господин Редактор,

Приняв во внимание Ваше любезное предложение, обращенное ко всем читателям « Возрождения », помещать на страницах Вашего журнала « свою критику и свои пожелания », я хочу воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы ответить господину М. Григоровскому. Нарочито развязный тон его художественного обзора вызывает крайнее недоумение и требует более беспристрастной оценки критикуемой выставки. Творчество Шагала можно любить, можно оставаться к нему совершенно равнодушным, наконец, можно не любить совсем, но подобного рода выпады непозволительны.

Сздав особый поэтический мир русско-еврейского рассеяния, Шагал живописно увековечил родную ему стихию во всем блеске и разнообразии красок своей радужной палитры. По форме его искусство может быть рассматриваемо, как преломленный литературный прием, широко применяемый, кроме других, например, импрессионистами и в первую очередь возглавителем этого течения — Сергеем Есениным :

« По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист ».

(« Инония » — 1918 г.)

И если щемящая тоска Есенинского песенного распева воспринимается так просто и легко, находя отклик в нашем сердце, то это объясняется лишь тем, что его образы хорошо знакомы и непосредственно близки нам : беспредельной грустью убогих деревенских изб, залитыми лунным светом березами,

каплями осеннего дождя, как слёзы падающими на сырую землю...

Согласно складу своего мышления, гений каждого народа создает образы, причудливо кристаллизирующиеся в речевых оборотах, как, например, в русском языке употребляют: не хватать звёзд с неба, печь как блины, стоять поперёк дороги, лезть из кожи вон, потерять голову, плести восьмёрки ногами, остаться без задних ног, шевелить мозгами, крутить носом, повалиться сном, расцвести махровым цветом и бесконечное множество других... И если бы перевести их в плоскость живописного изображения, то это вплотную приблизило бы нас к пониманию художественной манеры Шагала. И нет никакого основания отказывать ему в праве свободной интерпретации воспроизводимых им образов. Стоит только дать себе труд и сопоставить рассказы Шалом Алейхема и роман Богрова «Записки еврея» с картинами Шагала, чтобы обнаружилась полная тождественность изображаемого ими быта, с описанием тех же мельчайших подробностей старых еврейских обычаев, своеобразного уклада жизни, религиозных обрядов, лиризма преданий хасизма с летающими людьми и посещающим их празднества пророком... Шагал прекрасно знает, что он рисует и зачем он это делает. Повторяю, его творчество может быть совершенно чуждым людям иных традиций, не ощущающим никакой поэзии в его картинах. Это — вопрос вкуса. Но отсюда еще не вытекает никакой необходимости ограничивать всю критику исключительно перечислением изображаемых на картинах предметов и их объёмных соотношений. В подобном разрезе можно, пожалуй, сказать и о Венере Милосской, что это просто мраморная безрукая баба с толстыми ногами, а Монну Лизу Леонардо да Винчи преподнести безбровый грудастой итальянкой, неизвестно чему ухмыляющейся...

Но ведь каждому художнику важно не только, что он изображает, а как он это исполнил. Однако, об этом-то г. Григоровский и упустил упомянуть. Почему?!

«Le style est l'homme même» — определил Бюффон. К сожалению, стиль отзыва о выставке Шагала оставляет желать лучшего.

Мне хотелось бы только выразить пожелание, ставшему для всех читателей своим, «Возрождению» — удержаться от печатания подобных изощрений в остроумии, чтобы не нести за них ответственности и не подвергаться напрасно нападкам.

В. Маркадэ

О РУССКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Многоуважаемой Г-н Редактор,

В Вашем журнале №№ 213-214 я прочла о русском эмигрантском театре.

С глубоким прискорбием должна констатировать, что в статье А. Шика есть много разных неправильностей, которые попросила бы Вас исправить; первое — Русский Драматический Театр, который существовал в Salle Chopin, был создан мною, Ксенией Питовой, а не Клавдией — такой в нашей семье Питовых не существовало; имя по сцене Кс. Питова я взяла от своей матери Надежды Питовой, родной сестры Жоржа Питова, так что о «псевдо-Питовой», как выразился г-н Евреинов, не может быть и речи... Театр мой был создан мной исключительно на мои средства, что и может подтвердить муж моей администраторши А. Бухонев. Не знаю по каким причинам Г-н Шик обошел его молчанием, а ведь все силы были налицо и театр показал ряд блестящих постановок — где подвизались довольно таки талантливые актеры как: Тразовская, Торшин, Великанов, Садиков, Раулова, Нора КарабANOва, Милич Келдыш и многие другие, — но мы все позабыты... Лично о себе писать не буду т. к. теперь это уже неинтересно, но скажу одно: что после меня театр умер, никто его уже не субсидировал, а я его продержала три сезона. Были попытки г-на Карганова его воссоздать, — но кончилось полным провалом.

Ксения Питова

Вашингтонские читатели
поздравляют журнал «Возрождение»
с Новым 1970 годом и желают ему
успеха и процветания.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Памяти Гизеллы Лахман

Гизелла Лахман. «Пленные слова», изд. Кружка Русских Поэтов в Америке, Нью-Йорк, 1952. — «Зеркала», изд. Виктора Камкина, Вашингтон, 1965.

Два небольших, изящных — трогательных простотой оформления — томика, почти две тетрадошки, почти два альбома отделенные один от другого тринадцатилетним промежутком, — наследство, оставленное покинувшей нас Гизеллой Лахман, о которой сразу же надо сказать, что при жизни не было ей, в нашей зарубежной печати, уделено то внимание, на которое она, по справедливости, имела право. Ее стихи — ее, скажем, творчество — наполнено нежностью, оно деликатно-лирично, оно свободно от всяких ухищрений, в нем не найти погони за «новизной», за «сенсацией», или за желанием удивить, ошеломить, в нем нет попыток что бы то ни было передать не так, как того просят сердце, и душа. Гизелла Лахман много уделяет места любви, грусти, разлуке, ожиданию, и — пожалуй, — в строках и строфах ее печали и разочарования больше, чем спокойной радости, и улыбки, которых немало, часто грустны, меланхоличны. Однако мизантропии и скептицизма на этих страницах не найти. И если, в том или ином разрезе, то или иное стихотворение и наводит на мысль, что во вдохновение автора закрадывалось начало упрёка: «ну почему же, почему так было, так вышло?» — то всегда эта уступка сомнению заслонена неизбывной, все освещающей добротой. И смирением. Читая и перечитывая эти стихи, тихонько их повторяя в мыслях, думаешь, если не шепчешь: «вот кому Господь радостно отворил двери своего рая».

Скромная и требовательная к себе, Гизелла Лахман начинает свой первый сборник с вопроса:

Светлый день по новому чудесен,
Песни просит новая весна.
В скучных книгах столько скучных песен...
И кому нужна еще одна?
Почему же, словно в лихорадке,
Охмелев от звуков, чуть дыша

Я пишу, в растрепанной тетрадке
Кончиком тупым карандаша?

И, тут же, находит ответ :

Пятна солнца пляшут на паркете,
За окошком шелестит листва...
Эти листья, шелест, блики эти —
Пойманные, пленные слова.

И потом, весь сборник, как раз, соответствует такому определению. Разве что можно прибавить небольшое уточнение : не сами и не только, слова пойманы и пленены, а то, что им предшествовало и чему она, в минуты творчества, нашла как раз нужное, как раз подходящее, как раз соответствующее место : и стали они тогда ее счастливыми рабами.

Несколькими страницами ниже, она скажет :

На площади у снежного сугроба
Он моего коснулся рукава.
Мы в тот же миг остановились оба
И растеряли сразу все слова.

Так могло, вероятно, показаться, так вышло, естественно и просто. И тотчас же, эти « растерянные слова » чудесно вновь покорены :

Но зазвучал такой звенящей песней
Там на морозе мой счастливый смех!

Дальше, на ту же почти тему, почти так же и почти то же находим в послушных фразах :

Сегодня я тебе чужая,
В кругу родных с тобой на « вы »...
Себя, быть может, унижая
Я берегусь худой молвы.
И я усердно изучаю
Узор персидского ковра,
А ты молчишь над чашкой чаю....
Как было хорошо вчера!

От всякого сравнения, от малейшего сближения с другими поэтами мы, как всегда, воздержимся. Можно, конечно, отыскать « филиацию ». Но не умаляет ли она и того, кто « начал »,

и того, кто «продлил» и, больше всего, того, кто «читает и ценит»? Гизелла Лахман сама пленила слова, и слова эти, до последней интонации, принадлежат ей, и ей одной. Но она с нами ими поделилась, их нам доверила и теперь, когда ее нет, они звучат совсем по особенному, хотя ничего располагающего к удивленной настороженности в них и не найти.

Казалось, была я зрячей, —

скажет она, —

Не знала, что я слепа,
Что не вижу за дымкой горячей,
Куда нас ведет тропа.

Но вот вышло так, что

Ты пришел... Без ключа, без отмычки
Отворил в мое сердце дверь.
Растерялась я с непривычки,
Тихо жду; что случится теперь?
А на двери были засовы,
Было замкнуто сердце ключом...

Так крепко замкнуто, что Гизелла Лахман почти испуганно поясняет :

Веселых слов не говори,
Не объясняй мне Бога ради...
Но прежние слова твои
Записаны в моей тетради

чтобы, ниже, еще уточнить :

Притворись, что в меня ты влюблен
И желанное слово скажи.
Упрекать я не стану во лжи
И поверю всем клятвам твоим,
Что твердить будешь завтра другим.

О словах же, тоже «пленных», Гизелла Лахман напишет, почти сжато, в стихотворении, озаглавленном «Письмо». В нем она говорит об ожидании строк, о том, как вложенное в эти, издали приходящие строки, — которые сами «пленны», — приносит ей нечто большее чем утешение, большее даже чем

поддержка : приносит что-то сравнимое с непоколебимым доверием к будущему :

Изменила всем другим заботам
И недели плыли как во сне...
Письма, что писал он по субботам,
Приносили в понедельник мне.
И меня от шестидневной смерти
Воскрешали в семь часов утра
На квадратном, сереньком конверте
Росчерки лиловые пера.
Адрес мой, и даже номер дома,
И с печатью марка в уголке —
Всё дышало ласкою знакомой...
И конверт дрожал в моей руке.
Той зимой мы оба ошалели,
Жили только от письма к письму...
Мне писать он перестал в апреле,
Просто так... Не знаю почему.

Конечно, между строчками :

Обещал ты зимой, что вернешься летом.
Пусть напрасно тебя ждала,
Верю, нет ни вины, ни измены в этом :
Просто осень весной пришла —

и другими, за ними следующими :

Стерегло несчастье за углом,
У негаданного поворота...
Я сама беду впустила в дом,
Распахнула широко ворота, —

есть, как будто, разница. Не те же «взяты в плен» слова и «просто пришедшая весной осень» — не то же, что самую «широко распахнутые беде ворота». Но и тут и там — смирение! И тут и там, Гизелла Лахман не ропщет, и тут и там, просто и со всё той же неизбывной добротой, принимает то, что «суждено», зная, что «конец, как смерть, был неизбежен».

В разделе «Вариации на тему» Гизелла Лахман точно бы углубляет ту же тему, точно бы с большей подчеркнутостью пишет о разлуке, о тоске, об ожидании, о несбывшейся надежде. Можно, кажется, сказать, что в разделе этом она овладева-

ет словами с большей твердостью, подчас даже с резкостью, которая граничит с отчаянием.

« Уехать значит — умереть немного,
А умереть — уехать навсегда ».
В вечерний час у моего порога
Закаркал ворон — черная беда.

.

И кажется, что счастьем позабытый
Не шевельнется молчаливый дом.
И я шепчу с беспомощной тревогой,
Сжимая руки холоднее льда :
« Уехать значит — умереть немного,
Быть может, не вернуться никогда ».

О разлуке же, измене, о непреодолимой судьбе, или о кем-то посланной беде, которой нельзя не распахнуть ворота, или просто о таком вот, а не о другом, « стечении обстоятельств », точно предчувствуя, что позже она напишет еще сборник, который назовет « Зеркала », продолжая погоню за словами, с бесжалостностью к себе, к своему сердцу, Гизелла Лахман скажет :

Я знаю, зеркало не лжет,
Но вижу в нем с былой любовью
Не свой, а твой упрямый рот,
Глаза и пятнышко над бровью.
Твое дыханье и тепло
Ищу дрожащими губами...
Стоит холодное стекло
Стеной прозрачной между нами

и прибавит :

Около потухшего камина
Не согреть оледенелых рук

.

Я с утра, присев на ручку кресла,
Обнимаю пустоту...

И, еще горестней, почти в полу-бреду, расскажет о том,

как когда его нет, и она не знает, вернется он, или не вернется, она, тихо и без разрешения, войдет в комнату темной ночью, со свечой.

И опять озарятся страницы
О несбывшемся нашем сне.
Перечти их скорей... Я устала,
Я боюсь уронить свечу...
Мой далекий, мне надо так мало :
Я присниться тебе хочу!

Но как ни вески, скажем : как ни особенны взятые ею в плен слова о разлуке, о грусти, о сожалении, о том, что могло быть и чего не было, чему на смену пришло другое, — или не пришло ничего, — не одними ими заполнен ее сборник и нетрудно в нем найти если не полные жизнерадостного веселья, то и не помеченные непреодолимой грустью строки и строфы. Всё, как мы уже сказали, всегда оваяно доброжелательностью и добротой и в этом, вероятно, заключается главная характеристика ее творчества. В этом, и в превосходной простоте! Нередко ее стих так непосредственен, что почти похож на разговорную фразу, в которой рифмы и ритм едва заметны. — « Сегодня странный день — дождливый, как в Париже, над небоскребами колышется туман, но дым и облака плывут над Сеной ниже, а здесь их гонит ввысь какой-то ураган ». Или : « За неделей тихо тянется неделя и, быть может, годы мирно здесь пройдут. В комнате безличной, в комнате отеля я создавать стараюсь свой былой уют »,

Или еще : « Все в мире круто изменилось и в новое вошло русло. Прошедшее мне будто снилось, и нет его — оно прошло »... « И в этот миг, в прощальном свете, я снова верю всей душой, что мой уют, игрушки, дети тут — наяву — передо мной ».

Но потом, в стихотворении « То, чего не было », которое надо бы (но нельзя из-за страниц) привести полностью, найдем едва ли не всё объясняющие, ко всему дающие ключ слова, « пленные слова » о шкатулке, в которой

...спрятан необычный клад
Загадочный и невесомый —
На блеклой ткани чисел ряд
И букв причудливых изломы
Как символы далеких дней...
Но это — не воспоминанья :

Лежат, нетронуты, на дне
Возможные переживанья

.

Сейчас я трону наугад
Волшебный знак на тонкой ткани.
Мне страшно : вдруг я не попад
Запретные раздвину грани?
Шагну на скользкую ступень?
Коснулась... Слышу плач метели
И вижу незнакомый день
Декабрьской пасмурной недели.
Брожу ли с ним? В лесу... вдвоем?
« Да, — шепчет оснеженный ельник, —
О, вспомни, что в ларце твоём
Ты заперла один сочельник... »
И рассказал мне выюжный день
Так убедительно и ясно,
Что жизнь моя прошла, как тень, —
Я двадцать лет ждала напрасно.

.

В чем именно разница между Пленными Словами — первым сборником — и Зеркалами — вторым, кроме, конечно, того, что на втором, тринадцатую годами отделенном от первого, не так ярко, не так трепещущ отпечаток лирического вдохновения, побудившего Гизеллу Лахман « словно в лихорадке, охмелев от звуков, писать кончиком тупым карандаша »? Пленные слова теперь отражены в Зеркалах. В известной мере они превратились в воспоминания и, в известной мере, наложили свою печать годы. Прибавилось опыта, еще возрасла — и без того бывшая большой — требовательность к себе. Но звучат и другие нотки.

Из неземных, быть может, измерений
Идут рядами чьи-то тени...

скажет Гизелла Лахман, и не только в том дело, что прошли годы и она сама стала старше, а еще и в общей перемене, которой она, едва ли не с горечью, не могла не видеть.

Пароходы, письма, поезда,
Самолеты в небесах высоко

Зачеркнули слово «никогда».
Стало близким грозное «далеко»

запишет она и добавит :

Мы, дерзая, обгоняем звук.

И еще добавит, почти горестно, что не взирая на все эти перемены, смысл которых от нее не ускользнул, главное осталось тайной. Потому, что мы

К сердцу лишь дороги не нашли.

.

Взбегаю быстро на крыльцо

скажет она

Смеюсь, как девочка, беспечно,
Не замечая, что лицо
Склонила надо мною вечность.

И ниже, чтобы устранить всякую недоговоренность, — внимательно заглянув в одно из Зеркал, — напишет строки, смежные с исповедью :

Что было нежностью согрето
И что в слова нельзя облечь, —
Всё это встречу где-то, где-то
Когда мне будет не до встреч.

«Уединенность мне сестра» — и «одна теперь и всё страшней я жду : когда наступит срок?». — «Где ты, девочка с мягкой челкой, шестилетняя тезка моя?» — «Это было в каком-то апреле, а в каком? — Потеряла я счет». Еще цитаты, которых можно сделать много, только подтвердят и ничего не изменят. Не меланхолия всё это, а нежная грусть, за которой всегда таится смирение. Но если мысль о кончине не кажется ей страшной, если в кончине ей не мерещится ничего противуестественного, то все-таки, иной раз — всего два раза! — на коротенькое мгновение закрадывается в чистую ее душу то ли искушение, то ли протест.

Уже бледней скудеющие тени,
В опавших листьях мертвая трава.

Только « в мае песни зазвелят с утра; вновь голый куст
залиловает пышно, вновь станет теплой мерзлая кора »...

Но мы? Но мы? Просить ли иступленно
О жалости и возносить хвалы?

.

Ждать чуда, иль... с перил чугунных моста
Внять голосу настойчивой реки?

Строки, с которыми перекликаются другие :

...На копоть и дымные крыши
Глядела ты с арки моста.
И голос почудился свыше :
« Опомнись! Везде красота ».

.

И плакала ты, сознавая,
Одна, на высоком мосту,
Что ты еще слишком живая,
Чтоб кинуться вниз — в пустоту...

Но два эти примера, — их только два! — не вносят диссонанса в общее впечатление, которое оставляет чтение « Зеркал ». Между ними и общей тональностью сборника разница та же, что между строчками :

Летят морозные недели,
Недели декабря.
Срывают снежные метели
Листки календаря.

.

Быть может, день отмечен где-то
Среди грядущих дат,
Когда блеснет прощальным светом
Последний мой закат?

и строкой, заканчивающей стихотворение, коего начало : « я придумала, я сочинила и твою и мою любовь », в выразительной своей простоте, приближается к афоризму :

И я жить не могу, не любя.

От этого, конечно, и оказываются возможными в « Зеркалах » такие строфы :

Ты уверял, что солнце подождет,
Не станет торопить влюбленных;
Что это — наша ночь, вся наша, напролет,
Ты в памяти живешь такой, как был тогда

или :

Нежданную нежность нечаянной встречи —
Я бережно в память кладу.

И оттого же может она написать :

Завтра — миф. Нет сегодня. Исчезло вчера.
Но в душе, в глубине, в подсознании зарыта
Прежних лет золотая пора.
... За какие грехи
Суждено до сих пор утомленной рукой
Мне писать молодые стихи?

А в « Мгновении », как бы поясняя, добавит :

Но протянута нить через горе потерь.

И всё : и исчезнувшее Вчера, и переставшее существовать
Сегодня, и обратившееся в миф Завтра, — всё сразу, всё вместе тут, тут, совсем рядом, когда

Просыпаюсь одна и дома,
Где мне каждая вещь знакома,
Где недвижно молчат зеркала

где

Я с тобой за морями в знакомом краю
До сих пор в палисаднике летнем стою
В подвенечной фате — у раскрытых дверей,
И не вянет в руке мой букет орхидей.

Преувеличиваем ли мы мелодии печально-нежной лирики, когда, перелистывая, перечитывая, перешептывая стихи-

музыку Гизеллы Лахман, стремимся составить себе об ее поэзии по возможности полное представление? Есть ведь в ее двух томиках и другое. Но, кажется нам, это другое не преобладает и, во всяком случае, всё естественно и деликатно связано с вечно-женственным, освещающим ее печаль. Не имели чести знать ее лично и нигде, никогда, не приходилось видеть ее фотографий. Но, прочитав — и не раз, а много раз — два чудесных ее томиков, естественно доверяемся догадке, что была она, наверно, так же прекрасна, как обворожительно оставленное ею нам небольшое, но драгоценное, наследство.

Да будет ей радостно в Царствии Господнем.

Я. Н. Горбов

ПОЛУЧЕНО ДЛЯ ОТЗЫВА

Мих. Булгаков. Собачье сердце. УМСА-Press, Париж, 1969.

Н. Бердяев, В. Ильин, С. Франк. Христианство, атеизм и современность. 2-ое изд., УМСА-Press, Париж, 1969.

Т. К. Чугунов. Деревня на Голгофе (летопись коммунистической эпохи от 1917 до 1967 г.). Изд. автора, Мюнхен, 1968.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ

« Ч а с о в о й »

Орган связи Российского Национального Движения

Под редакцией В. В. ОРЕХОВА

Подписная плата во Франции: 20 фр. (год), отд. ном. 2 фр.

Преставитель для Франции :

Librairie « Kama » — 27, rue de Villiers, 92 — Neuilly.

C.C.P. 18. 446.32

Продается во Франции в книжных магазинах :

E. de Sialsky, 2, rue Pierre-le-Grand, Paris 8°; « Kama », 27, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine; Magasin du Livre, 10, rue des Carmes, Paris 5°; « Дом Книги », 9 rue de l'Eperon, Paris 6°

Под властью злобной бездарности

Густая завеса молчания продолжает окутывать самое важное из всего, что происходит сейчас на международной арене: советско-китайские переговоры в Пекине. Только окольными путями, может быть не без нарочитых утечек с той или с другой стороны, становится известным, что все советские старания добиться какого-то соглашения по более общим вопросам наталкиваются у китайцев на глухую стену. Пекин согласен только обсуждать теперешнее, непосредственное военное напряжение на самой границе и некие меры для ее уменьшения, — иначе говоря, выиграть время, отсрочить надвигающийся конфликт, но не устраняя его причин и не давая никаких гарантий на будущее. Первейшая гарантия, которой, естественно, хотели бы добиться в Москве, это — отказ от применения «некоторых видов вооружения», говоря попросту — обязательства китайцев не подвергать территорию России атомной бомбардировке. По имеющимся отрывочным сведениям, Москва поставила этот элементарный вопрос, без успеха. Красные китайцы не согласны отказываться от атомного шантажа в отношении северного соседа и в это же самое время они довольно подчеркнуто возобновили «диалог» с Соединенными Штатами. Китайско-американские переговоры в Варшаве не могли не усилить тревогу в Москве. Отразившаяся и в советской печати, эта тревога в действительности, вероятно, больше того, что нам хотят показать. Со времени чехословацкого безумия, Советский Союз сам повел себя к полной международной изоляции и не удивительно, что США склонны теперь использовать советско-китайский антагонизм для обуздания слишком было распоясавшихся кремлевских наследников Сталина. По последним зондажам общественного мнения, в Америке всё больше убеждаются в неизбежности советско-китайской войны — и ощущают всё меньше желания давать в ней предпочтение советской стороне.

Перед лицом китайской угрозы, рецидив сталинщины на советских верхах сказывается и не только в этом. Теперь доходящие до нас отголоски подтверждают вновь и вновь, что беспощадный зажим внутри всего европейского коммунистического блока приводит к тому именно результату, которого можно было ожидать: во всех сателлитах Советского Союза, люди, задыхаясь в тисках, всё больше ждут избавления от войны между СССР и Китаем. Как мы и писали сразу же после со-

ветской интервенции в Праге, московские сталинцы действительно создали вдоль всей западной границы России своего рода « пороховой погреб », который может взорваться от первой же детонации на ее восточной границе. Но дело и этим не ограничивается. Внутри самого Советского Союза, отвратительный, жестокий и противозаконный « курс », принятый за последние два года « коллективным руководством », приводит к росту центробежных сил. Отчетливые образчики этого видны и в самиздатской « Хронике текущих событий », теперь переизданной за рубежом специальным выпуском « Посева ». Еще не так давно, устрашающее соседство китайского коммунизма побуждало народности советской Средней Азии принимать свою связь с Россией как необходимую защиту от этой угрозы; теперь, тот облик, в котором русский элемент выступает стараниями Брежневых, побуждает толпы узбеков кричать « русские, пошли вон ». На Кавказе, взрыв памятника Ермолову также означает нечто подобное и независимо от этих скупых и сжатых сообщений « Хроники » нам, с разных сторон, пришлось слышать о росте подобных настроений. Говорят, что в национальных республиках, при всеобщем отталкивании их населения от партийных гнета и тупости, русских всё больше обвиняют в покорной готовности со всем этим мириться, и даже в Армении — традиционно наиболее руссофильской части Закавказья — безжалостный и бездарный режим опротивел до того, что и там начинают с надеждой ждать военного столкновения на Д. Востоке.

Всему этому можно, конечно, с полным правом противопоставить тех русских, которые с бесстрашным героизмом встают против царящего беззакония и, следуя голосу своей совести, расплачиваются за это заключением в концлагерь или в сумасшедший дом, или подвергаются трусливо подлым гонениям, когда власть не решается на « крайние меры » из-за калибра гонимых, как в случае Солженицына. В подвиге этих людей теперь вся надежда на осуществление подлинного братства народов в подлинно свободном союзе, каким должен стать теперь закабаленный партийным изуверством СССР. Но это изуверство за последнее время дошло до того, что трудно уже найти качественную разницу между ним и изуверством китайским. Вероятие стихийных разрушительных взрывов вытекает из этого само собой.

Иногда даже кажется, что партийная власть, не видя уже иной возможности продлить свое существование, сознательно старается поставить людей перед этим выбором: или безропотно ей покоряться, или пойти на риск катастрофического распада, анархии и внешнего разгрома. Словно надеясь на пов-

торение опыта последней войны, эта власть снова пытается запугать русских патриотов старым пророчеством Гитлера : « Конец большевизма в России будет концом России как государства ».

Стремление именно нераскаянных сталинцев представить себя носителями государственного начала и целостности Союза достаточно отчетливо выступает и в казенной литературе, вплоть до таких произведений, как роман Кочетова, разобранный нами два месяца тому назад. Но к явлениям того же порядка можно отнести и введение в обращение таких странных вещей, как изданное в Голландии и, повидимому, распространяемое в России сочинение автора, подписывающегося несомненным псевдонимом Амальрик, до самого недавнего времени остававшегося никому не известным, а теперь каким-то образом устраивающего чуть ли не пресс-конференции в Москве. По собственным его словам, его обвиняют в сотрудничестве с КГБ. Об искренности его отрицаний мы не можем судить, но на размышления наводит один тот факт, что КГБ не сажает его, по своему обыкновению, в сумасшедший дом и оставляет ему возможность проявляться так, как он это делает. Приходится думать, что предсказания Амальрика о неминуемом и окончательном крушении « великой восточно-славянской империи », и именно в результате удара со стороны китайцев, представляют собой такую тему, которую сама власть не прочь эксплуатировать на свой лад : мол, видите, к чему вас ведут всякие радости о правах человека, глашатаи свободной мысли и свободного слова.

Преступность подобной игры и опасность амальгам, быть может подготавливаемых этим способом для постановки новых « показательных процессов », необходимо вскрыть самым решительным образом, и именно с точки зрения русского патриотизма. К развалу и к внешнему разгрому страну ведет сама власть, своим неисправимым деспотизмом и нелепой политикой, этим деспотизмом порождаемой, как вела она страну к этому же перед последней войной. И после всех обманов, совершенных ею со времени народной победы 1945 года, она уже не имеет права рассчитывать на то, что в случае новых катастрофических осложнений новый взлёт народного патриотизма еще раз, как тогда, спасет страну, а заодно и ее саму. Духовное, а теперь уже и физическое, государственное спасение России в том, чтобы избавиться от этой искусственно создаваемой « амальгамы » между ее собственной сохранностью и сохранением этой власти, оно в раскрытии светлого лика России, что и деляют такие люди, как Солженицын. Так и только так Россия, свободная и человеческая, будет в состоянии

встретить грозу, по всей вероятности надвигающуюся на нее из Восточной Азии.

**
*

Немыслимость одновременной борьбы и со свободным миром на Западе, и с китайским коммунизмом на Востоке настолько ясна, что нет больше надобности об этом распространяться. В какой-то степени это несомненно сознают и на правящих советских верхах. Но эти же верхи всё не могут отделяться от требований своей специфической партийности, которые и навязывают им именно эту двойную борьбу, при всей ее очевидной немыслимости.

Если для управляемой ими страны китайская проблема означает внешнюю угрозу со стороны чужой жесточайшей военно-революционной диктатуры, то для коммунистических властителей Советского Союза та же китайская проблема в первую очередь означает по-прежнему борьбу за «первенство», за гегемонию в мировой коммунистической революции. Из этого и вытекает, что советское правительство, при всей своей боязни губительного столкновения на Западе, тем не менее вступает то тут, то там в «соревнование» с китайцами по разжиганию всевозможных очагов смуты в мире, и этим накликает тот самый конфликт с западным миром, которого оно само как будто старается избежать. Очередную яркую иллюстрацию этого дает теперь продолжающееся обострение на Ближнем Востоке.

С точки зрения китайских коммунистов, Палестина представляет один из образцов той «народной революционной войны», которую они проповедуют для всех континентов. До недавнего времени — всего только несколько месяцев тому назад — Москва к этой «народной войне» относилась прохладно, сознавая, повидимому, что неосмотрительная поддержка такого рода движений, никакому контролю не поддающихся, может завести Бог знает куда. Связываться даже и с самыми «прогрессистскими» правительствами арабских стран было всё же спокойнее: можно было надеяться, что Советский Союз сохранит за собою возможность удерживать их от самых крайних выступлений, наиболее опасных для международного мира. Уже этого было достаточно для китайской пропаганды, чтобы обвинять СССР в «измене делу народно-освободительной борьбы» в Палестине, как и во Вьетнаме. Как и во Вьетнаме, советская Москва этого упрека не могла стерпеть: она стала сблизиться непосредственно с организациями палестинской герилы. Этим самым она уже дала им возможность еще сильнее

давить на « прогрессивные » арабские власти. Начиная с Насера, все они, чтобы держаться, должны теперь всё больше плыть по течению « народно-революционной войны », должны поэтому предъявлять всё больше требований поддержки Советскому Союзу — и в то же время всё меньше считаться с советами « умеренности и осторожности », которые он стал бы им преподавать. И оказывается, что достаточно Насеру в своих выступлениях обойти молчанием « благодарность за советскую помощь », как Кремль начинает, действительно, эту помощь усиливать, всё из того же страха быть « обойденным слева », окончательно выпустить арабских « прогрессистов » из своих рук или стать бессильным свидетелем крушения их режимов. Результат : Советский Союз на Ближнем Востоке всё больше сбивается на приблизительно ту же политику, которую красный Китай вел бы, если бы мог. Но Китай — пока — способен вести ее главным образом только словесно, а Советский Союз, в лице своих правителей пугаясь этой словесности, и поэтому фактически принимая на себя роль Китая, всё больше приближается к той роковой черте, где угрожает столкновение между ним и Соединенными Штатами, т. е. мировая война.

И это в то самое время, когда красный Китай выражает свое несогласие отказаться от применения атомной бомбы в случае своего столкновения с СССР.

Можно утверждать, как это часто делается, что своим вмешательством в переднеазиатский конфликт Кремль принимает только « рассчитанный риск ». По всей вероятности, это и верно в том смысле, что советское правительство старается вести дело именно так, оставляя себе возможность остановиться во-время, когда риск станет слишком страшным. Но ввиду чрезвычайных умственных способностей, по всем направлениям проявленных « коллективным руководством », особенно за последние годы, нельзя не поставить вопрос : а кто может поручиться, что риск рассчитывается скольконибудь правильно? Пакт Сталина с Гитлером и всё потворство, оказанное Третьему Райху в 1930-41 гг., тоже ведь были « рассчитанным риском »...

Вполне допускаем, что и сейчас еще, угрожая Никсону дальнейшим усилением своей военной помощи Насеру, советское правительство *надеется*, что всё-таки не зайдет слишком далеко. Поставка новых усовершенствованных военных самолетов еще не есть прямой вызов Америке. Верно, — но втягиваясь всё больше в эту зубчатку, всё труднее становится во-время высвободиться из нее. Как уже отмечается довольно убедительно в мировой печати, поставка одних усовершенствованных военных самолетов сама по себе — дело праздное, к

ним в придачу надо, по всей вероятности, дать еще и « добровольцев » — пилотов и всякий обслуживающий персонал. А это и было бы началом прямого военного советского вмешательства, последствий которого уже никто не может « учесть ». И одно из двух : или советское правительство выдвигает подобные угрозы впустую, или, вопреки рассуждениям о « рассчитанном риске », оно не знает, что творит. Если первое, то дело кончится новым показом его действительной слабости (как во время шестидневной войны) и его, скажем, недальновидности, добавив только еще один эпизод к уже долгому ряду его международных поражений, всё более осложняющих его изолированное положение в мире. А если оно совсем перестает знать, что творит, то не оттого ли, что его — партийного « руководства » — положение становится совершенно безвыходным?

Надо сказать, что политика здравая, т. е. направленная к установлению подлинного и прочного мира на Ближнем Востоке, перестала быть « приемлемой » для Кремля еще и потому, что его конвульсивный внутренний « курс » требует обратной. Всё в том же своем старании изобразить себе теперь охранительницей « истинной русскости », эта власть, вполне естественно, использует прежде всего пережитки всего самого худшего, что порою примешивалось к русскому национализму былых времен. Тут уместно вспомнить, что у подлинного и мудрого русского патриота Столыпина, когда он был смертельно ранен, в кармане лежал законопроект об уравнивании евреев в правах. Теперь же брежневым, в их отчаянной борьбе со свободной мыслью в России и во всем « социалистическом лагере », показалось очень удобным вполне черносотенно, в самом скверном смысле, использовать то, что пишется « антисиионизм », а произносится — все знают, как. В рядах свободомыслящей внутренней российской оппозиции, высокий процент еврейской интеллигенции, действительно, бросается в глаза и известны определенные случаи, когда КГБ внушало чисто русским по крови оппозиционерам :

— Да что вы, собственно, делаете среди всех этих жидов?

В печати и в официальных речах так высказываться, конечно, невозможно, — и власть сочла тем более « выгодным » валить « проникновение враждебной идеологии » в Советский Союз на козни, в первую очередь, мировых « сионистских » организаций. Ослабить свою враждебность к Израилю во внешней политике теперь означало бы для партийной власти — ослабить одну из важных позиций, на которых она пытается зацелиться внутри.

Еще одна из тех подтасовок, которые необходимо устра-

нить. Всем должно быть ясно, что наследие Пастернака, как и стихи Бродского с их изумительно глубоким ощущением православной религиозности, как и героическая борьба Павла Литвинова или Юлия и Ларисы Даниэль неотъемлемо принадлежат России самой подлинной и никакого вбивания клина здесь нельзя допускать. А для теперешнего положения власти довольно показательно то, что гнусность ее внутренней политики приводит ее к международному риску, скорее всего, плохо «рассчитанному».

И в самой стране понимают всё отчетливее, что власть запуталась окончательно в бесконечных противоречиях, порождаемых ее собственной бездарностью и ее богопротивной и человекоубийственной сектантской идеологией, ложной по существу и давно переставшей как бы то ни было соответствовать условиям нашего времени. По привычке, выработанной уже десятилетиями, страна, помимо всё еще ограниченных возможностей Самиздата, откликается на метания власти — анекдотами. И кажется нам, что есть какое-то новое звучание в одном из них, из самых новейших, дошедших за рубеж.

Сидят Брежнев с Косыгиным и Подгорным и обсуждают положение. Где выход? Неизвестно.

Думали — думали и вспомнили, что сохранился где-то в Москве или под Москвой мудрый, святой жизни цадик. Опиум, не опиум, сионизм, не сионизм, — махнули рукой на всё это и послали за мудрым старцем. Изложили ему положение дел без особых прикрас и умолчаний. «И выхода нет, не находим!»

Цадик им :

— Что значит — нет выхода? Есть у вас не один выход, а целых два!

Обрадовались :

— Какие же?

— Один — через Боровицкие ворота, другой — через Спасские. И знаете, через Спасские удобнее : прямо к Москва-реке.

Над беспомощностью власти и над ее обреченностью так не издевались, кажется, еще никогда. И конечно, «два выхода», подсказанные здесь «коллективному руководству», — это и есть для страны тот *единственный выход*, которому посвящена наша редакционная статья, — единственное средство избавиться от бедствий, ею переживаемых и еще ей угрожающих.

**
*

Празднование столетия Ленина — едва ли не последняя попытка поддержать остатки партийных «авторитетов». Но в той обстановке, в которой оно проводится, оно легко может при-

вести к окончательному разоблачению, перед лицом всего народа, всей истории большевизма в России, от самых его основ. « Всётаки неудобно — говорил корреспонденту парижского « Ле Монд » кто-то из его московских друзей — призывать людей к празднованию столетия рождения Ленина через 53 года после революции и при этом не быть в состоянии снабдить их вдоволь колбасой ».

Дело, конечно, далеко не в одной только колбасе, а в той общей исчерпанности режима, которую население теперь наблюдает во всем. И всё труднее становится внушать людям, уже научившимся мыслить критически, что достаточно только « правильно » применять ленинские « заветы », как всё вдруг пойдет как по маслу. В уже упомянутой « Хронике текущих событий » приведен, среди прочего, краткий разбор одного секретного ленинского документа, также распространяемого в России Самиздатом. Это — чудовищная инструкция о « беспощадных мерах подавления », которые должны быть приняты против Церкви и верующих под предлогом « изъятия церковных ценностей » в 1922 г. Характерно, что сама редакция « Хроники » сдержанно относится к подлинности этого документа : словно и она не считает возможным без крайней предосторожности разрушать Ленинский миф. Всё же она добавляет : « Если достоверность документа будет подтверждена, фигура первого Предсовнаркома в сознании широкой общественности станет более рельефной ».

Со своей стороны, те, кто пустил в обращение этот самиздатский текст, уже стремятся несомненно к такому выяснению « рельефа ». А ведь для этого есть и множество совершенно бесспорных документов. Кое что из них теперь собрано в отлично составленной, но, к сожалению, далеко недостаточной по своему малому объему, французской брошюрке, изданной в Брюсселе « Часовым ». Ленин, настаивавший на « необходимости террора » и « революционного насилия », также и над « неустойчивыми массами трудящихся », презиравший Россию платный агент германского Генерального штаба, основатель Чеки и системы концлагерей, объявлявший милосердие « глупостью » — вот духовный предок сегодняшних брежневых : предводитель предсказанных Достоевским бесов.

Начав искать « рельефности », в России скоро и это поймут. И бесам останется тогда, тоже по Достоевскому, выйти вон (через Боровицкие ворота или через Спасские) и вселиться, если угодно, в стадо свиней.

Кн. С. Оболенский

Наши представители за-границей:

АВСТРИЯ : Frau Kira Wolff, Bartensteingasse 8, Wien I.

АРГЕНТИНА : Mr. Jorge Knircha. Villa Balester, Jose Hernandez 149 dep.
2, Prov. Buenos-Aires.

БЕЛЬГИЯ : « La Sentinelle ». Belgique. Boite postale 31. Ixelles-4 (Compte
postal 3925.03).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : Iskander Ltd., 56, Ennismore Gardens, London S.W.7

ГОЛЛАНДИЯ : N. V. Martinus Nijhoff-Librairie. B. P. 269, 9, Lange Voor-
hout. La Haye. Pays-Bas.

ЗАП. ГЕРМАНИЯ : Dipl.-Ing. N. Alimov. München 22. Liebigstrasse 16/II.

США : « Slavonic Bazaar », 31 Middle Street, Bridgeport, Conn. — 06603,
Mrs. M. S. Kingston. Russian Book Store « Russ », 443, Balboa Street.
San-Francisco, 18. Calif. 94118, U.S.A.

ВЕНЕЦУЭЛА : Mme G. Balitzky Sur 5, № 88. Caracas.

БРАЗИЛИЯ : Mr. L. Rubanov. Livraria « KNIGA ». Rua Quintino Bocaiuva,
22 - 2.º - S/8 — Caixa Postal 8405. Sao-Paulo.

АВСТРАЛИЯ : «Unification », 497 Collins St., Melbourne, C. I., Australie.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

« LA PENSÉE RUSSE »

Главный Редактор : Зинаида ШАХОВСКАЯ

« Русская Мысль » — самая большая русская ежене-
дельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каж-
дый четверг на 12-ти страницах большого формата и
предлагает своим читателям широкий обзор междуна-
родных событий, статьи о вопросах религии и филосо-
фии, о науке, литературе и искусстве, интересные ар-
хивные материалы, документы о жизни в СССР.

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

« Русскую Мысль »

Адрес РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ :

LA « PENSÉE RUSSE », 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10^e

Tél. : 824-83-16

C.C.P. 5883-44 Paris

Прием по делам редакции и конторы ежедневно от 10
до 18 ч., кроме суббот и воскресений.

В экстренных случаях звонить в типографию: 636-01-29

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА : на 3 мес. — 22,50 фр.

на 6 мес. — 42,00 фр.

на год — 84,00 фр.

ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ : на 3 мес. — 25,00 фр.

на 6 мес. — 48,00 фр.

на год — 96,00 фр.

Цена отдельного № 2,00 фр.

ПОДПИСКА НА
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

принимается временно по адресу :

M. Serge Obolensky,
Chemin de la Côte-du-Moulin, L'Etang-la-Ville, 78 — France
C.C.P. 21148 15 — Paris.

Банковские чеки и почтовые переводы должны быть выписаны
обязательно на имя M. Serge Obolensky с пометкой
« для **Возрождения** ».

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Во Франции :

на 12 номеров 80 фр.
на 6 номеров 45 фр.

Заграницей :

на 12 номеров 21 долл., или 8 фунтов ст. 8 шилл., или 80 НМ.
на 6 номеров 12 долл., или 4 фунта ст. 16 шилл., или 45 НМ.

Цена отдельного номера :

Во Франции : 8 франков.

Заграницей : 2,50 долл., или 1 фунт ст., или 9 НМ.

**Не забудьте возобновлять Вашу подписку своевременно : от
регулярного поступления средств зависит успех нашего
издания.**